

Елена Крюкова



Елена Крюкова – родилась в Самаре. Поэт, прозаик, культуролог. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт им. Горького. Член Союза писателей России, Творческого Союза художников России, Издательского совета Русской Православной Церкви. Лауреат премий: им. М. И. Цветаевой (2010), Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» (2014, 2016, 2019, 2021), международных литературных премий им. И. А. Гончарова (2015), им. А. И. Куприна (2016), им. Э. Хемингуэя (2017, Канада), Южно-Уральской премии (2017), им. С. Т. Аксакова (2019), им. Ф. И. Тютчева (2020), журнала «Север» (2020), им. Н. Н. Благова (2021), им. С. Н. Сергеева-Ценского (2021), им. С. С. Гуртуева (2022), им. Б. П. Корнилова (2022) и др. Публикуется в литературных журналах России и стран мира (Франция, Германия, Болгария, США, Канада). Создатель авторского «Театра Елены Крюковой».

ЛАЗАРЕТ

Отрывок из романа

*Памяти великих русских хирургов:
святителю Луки (Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого)
и Николая Михайловича Амосова*

ФРЕСКА ПЕРВАЯ. СЕВЕРНАЯ СТЕНА

АЛЕКСЕЙ

Раскрой же двери. И войди, войди сюда босиком. Ты легчайшая лёгких, ты добрейшая добрых. Кто тебя разберёт, девчонка ты или музыка. Я тут лежу, лежу себе, лежу; а ты входишь и глядишь на меня, ты принадлежишь к существам, что не могут говорить, а только молчат, молчание твоё хрустально, беспечально, изначально. Я бы возомнил, что ты мне снишься, да видишь, я здоровою рукой крещусь и благодарен я Господу, благодарен воздуху, коим дышу, что плечо мне раздробили левое, а не правое и я могу шевелить рукой и накладывать крестное знамение. Наступили такие времена, что ты, инфанта, видишь вокруг себя не тех, кто верит в Бога, а лишь тех, кто верит в кровь и злобу. Ты благородна, а я тебе тоже благодарен. Вот лежу я тут, лежу. Губы уже не дрожат, они только тихо, слабо улыбаются, и я могу беседовать с тобою лишь сердцем, а это всего лишь кровавый комок, весь оплетённый прутьями и лозами плодоносных сосудов, как часто я видел его в красной слизи, а он бился у меня под руками в резиновых перчатках, взбрыкивал, хотел вырваться из клетки костей, убежать, утечь в небеса, – а я хищно хватал его, сжимал в кулаке, ритмично сжимал, как мяч для гимнастики ладони с перерезанными сухожилиями, – ах ты, инфанта в затрапезке, не пугайся моих мыслей, я тебе ещё не то расскажу, приучайся меня не бояться, – и тот кусок плоти, что, по нашим детским верованиям, полон добра и любви, яростно бился у меня в ладони, а потом вдруг застывал алой глыбой, мёртвой ощипанной курой, и я, молясь о продолжении жизни, наклонялся над ним, скользким, облитым кровью, и даже дышал на него. Так дышат на морозное стекло.

Я сам, дитя, стал морозным стеклом. Подыши на меня! Отогрей меня!

Вот, вот, видишь, тыходишь ближе. Ещё ближе, не страшись. Твои зрачки, две букашки, ползают по мне, изучая, дивясь, а я-то гляжу на тебя не глазами: у меня их нет. Один затянут бельмом-

паутиной, другой мне выбили, когда мучили меня. Про это я тебе не буду. Не настало время. Я слышу, как твои босые ноги шаркают по давно не мытым половицам лазарета. Вот лежу я здесь на железной койке, один, как царь, и железная сетка не прогибается подо мной, такой я лёгкий. Ты тоже лёгкая! Ты легко дышишь! Я слышу твоё дыхание, оно слетает ко мне бабочкой!

Иногда я слышу, как ты бродишь по унылой палате и возишь по полу щёткой. Я вижу сердцем твою щётку: длинная ручка, седая щетина, вся повылезла. Две твоих тощих косички связаны на затылке корзиночкой и упрятаны под ярко-красный платок. Да, платок у тебя на лбу цвета крови, он повязан плотно, палец под суровую ткань не протолкнёшь. Сколько тебе лет? Десять? Тринадцать? Пятнадцать? Ты слишком худенькая, поэтому твой возраст можно перепутать. Думаю, двенадцать тебе. Двенадцать апостолов ходили по горячим пыльным дорогам за Христом, а ты тут ходишь за больными. И не за деньги наняли тебя; тебя приневолили, тебе приказали. Ты послушалась, а что было делать? Скажи спасибо, тебя кормят. Швыряют в миску старинным оловянным половником жидкую кашу.

А ты неслышно подходишь ко мне, садишься на край моей койки, моего железного последнего корабля, и кормишь меня. С ложечки. Оловянная миска дрожит на твоих коленях, она живая. И чую я себя ребёнком, и стыдно мне, и сладко, и больно, и яростно, и ничего тут не поделаться; я ловлю губами скользкую с ложки в небытие собачью кашу и думаю: нет, это еда не для прелестных инфант, это еда для уходящих с лика земли в ночные небеса.

Там плавают рыбы-звёзды. Дрожат поплавки планет. Милая, я в юности любил рыбачить. А когда рыбы наловлю, костерок разожгу, котелок на огонь водружу, разрезаю изловленных серебряных и золотых рыб вдоль брюха, прямо посередине подрагивающих красных плавников. Красный Мирь! Кровь везде. Я вычищал ножом у рыбы из брюха кишки, а она ещё дёргалась, и я опускал её в булькающий кипяток, в адский котёл, и не ведал я тогда, что буду не рыбам – людям животы разрезать. Рёбра ломать. Мышцы кромсать. А потом крепко сшивать. Нить, которою сшивают людские раны, должна быть крепкой и мягкой.

Это как любовь: она вместе и сильная, и нежная.

Милое дитя, ты знаешь, я нахожусь внутри твоей картины. Ты же не живая, нет. Ты – нарисована. Я слышу тебя душой, вижу сердцем, обнимаю духом, а где твоё тело? А где моё тело? Мы сами себе снимся. Я то и дело погружаюсь в сон, а что ещё прикажешь делать в лазарете? Спать! Спать! Неужели тебе не снится твоя свита, твой веер из павлиньих перьев, твоя собака, твоя рыжая кошка, твои слуги, твои высокородные родители? Их отражения – вон там, подними глаза, в квадратном тусклом зеркале, высоко висящем на затянутой мрачной парчой стене. А может, это не парча, а солёные рыбы морские, на северном ветру насквозь проявленные, и не зеркало мотается, накренившись, под косым деревянным потолком, а грязное окно: и в нём не королевские сытые лица, а дальние, в мутной мгле, виселицы и плахи.

Я лежу меж тобой, твоим живым шевеленьем, и между ледяным зеркалом, отражающим мою смерть. Нашу общую смерть, одному умирать так тоскливо, невыносимо. Нет, не бойся, придвинься ближе. Кашу я уже всю съел. Мне трудно глотать. Мне тяжело говорить. Я посылаю тебе мысли, и ты гуляешь среди них, как в чащобе морозных узоров на зеркальном оконном стекле. Продыши во мне, застылом, смешной прозрачный кружочек нежным ртом! И приблизь к нему око своё. И гляди. Наблюдай. Ты много чего увидишь. Ты никогда не носила украшений, дырявое платье твоё пахнет солёной трескою, картофельными очистками, золой и свечным нагаром, но мы с тобой здесь русские люди, наш лазарет на берегу моря, я никогда не мечтал так умирать, но я сейчас яснее, чем когда-либо во зрячей жизни, вижу: тело – хворост, душа – играющая рыба, дух – усыпанное полнощными звёздами небо. Я твоё небо. Я дух. Ты кормишь меня кашей, это твоя обязанность, твоё больничное послушание, но это лишнее. Я лежу, ты сидишь, а на нас из зеркала смотрит страшный Мирь, который мы покинули. Мы никуда уже не уйдём с этого берега моря. Да нет, ты никакая не инфанта, ты царевна, зачем нам заморская живопись, мы же русские люди. Почему ты молчишь? Ты так внимательно, благоговейно слушаешь меня? Я лежу между твоей свитой, царевнушка, между швабр, щёток и веников, мисок и ложек, оловянных и деревянных, между запахом иных, многозвёздных красок, между режущими скальпелями врачебных голосов – и между Тем, кто стоит там, в углу, о, не оборачивайся, сначала я посмотрю ему в угрюмые глаза ясновидящим сердцем, – там, за нашими спинами, за перевалами ненависти и любви.

Я дерзну рассказать тебе сегодня мою любопытную историю. Ты любишь слушать истории? Так вот, слушай! Возьми невесомыми пальцами мою здоровую руку. Пожми её. Я с трудом смогу ответить тебе пожатьем. Но я сделаю это. Давай склеим пальцы, сольём. Я не раз переливал при операциях кровь – не только из стерильной банки, но от человека к человеку. Господи! Любовь Твою и прощение Твоё на нас излей! Я много грешил, хоть пытался людей от смерти спасти. А ты, девочка, ты же подснежник в весенней тундре! Ты из Ангелов. Я узнал тебя.

Позволь мне начать мой рассказ. У тебя была бабушка? Нет? Она нашёптывала тебе на ухо сказки, укладывая спать? Нет? Ты сирота, я понял. Давай я буду твоими отцом и матерью, твоими дедом и бабкой, твоими братьями и сёстрами, твоими далёкими детьми и внуками. Мы свидетели на перекрестье времён, и время обожгло наши щёки и ключицы огненным ветром. Давай простим наше время и тихонько, на время, забудем его. Времени на самом деле нет. Зря все верят, что оно есть. Всё повторяется. Всё хохочет во всё горло. Заливается слезами. Какая тёплая у тебя ручонка. Начнём же. Слушай. Господь с тобой.

* * *

Я раньше был портретом. Я был доступен воображению и кисти художника. Не морщь лицо своё; оно у тебя, дитя, слишком красивое и нежное, чтобы гримасами уродовать его.

Сквозь большие, просторные окна, величиной с колосящиеся пшеничные поля, всю мою жизнь лился свет; он лился то молоком, то мёдом, то густым красным вином, то прозрачной, призрачной пахтой, всё зависело от того, какое время суток на дворе, день, рассвет, закат или беспросветная ночь. Говоришь, живой человек не может быть живописью? Да живопись, дитя, это всё сущее. Всё вокруг нас. Мир не трёхмерен. Он многослоен – так, как многослойна человеческая кожа, человеческие потроха, весь пирог человеческой истории и мысли, из которой складываются огненные коржи веков. Им не вернуться никогда: они съедены до крошки. Встань сюда, к окну, в круг света. Встань так, чтобы находиться между мной-портретом, мной-человеком, кистью художника и другими его натурщиками, что толкуются там, поодаль. Его натурщики – мои владыки. Его натурщики – мои врачи. Его натурщики – мои палачи. Я их вижу сразу из трёх пространств: отсюда, с койки лазарета, отсюда, из насквозь просвеченной сливочным солнцем мастерской, и ниоткуда, с моего портрета. Три моих взгляда тихо соединяются. Сочетаются. Глазами можно сочетаться крепче любых уз: брачных, дружеских, родственных. Обними меня глазами, милая! Благослови меня зрачками своими. Я уже почти слепой, а ты только прозрела, слепой котёнок, ибо созерцаешь начало жизни твоей.

Ты спрашиваешь меня: а я, а где же я на картине? Ох, вот это трудный вопрос. Я шарю глазами повсюду – и тебя не вижу. Заблудившийся ясный луч, до брызг стекла пробивающий окно, так похож на тебя. Но это не ты. Я не должен ничего перепутать.

А художник? Где художник? Ах, да вот он. Он стоит и пишет. Возит кистью по холсту. Прищуривается. На кого он смотрит? Натурщики угрюмо, страшно молчат. Не улыбаются, не беседуют, не шевелятся. Они отражаются. В зеркале.

Художник рисует их, острым взором вынимая из зеркала.

Вон оно, зеркало, на стене – огромное, как жизнь, я перепутал его с окном. Я старик, мне прости-тельно, с кем не бывает. Мастер не видит их, живых; он видит их отражения, и они нравятся ему, если он их рисует. Что значит зарисовать? Это значит запомнить. Навек? Не обязательно. Нарисованное может сгореть в огне пожара, в кострах войны, истлеть и развеяться по чужому сиротскому ветру. Пока мы живы, мы или позируем, или рисуем. Третьего не дано.

Я глядел с портрета в лицо художника, но, деточка, виноват, я не помню его лица. Да полно, писал ли он меня и нас всех? Может, он просто смеялся над нами и, смеясь, возил сухой кистью по белому холсту? Нет, в руке его была палитра, и могу поклясться, что я чувствовал острый и нежный запах масляных красок. Натурщики застыли, я смотрел перед собою, вперед, и, как и мастер, видел их в необъятном зеркале.

Дитя моё! Вот если бы я был учён живописи, я бы тебя нарисовал. Таковую, как ты есть – тощие белые кости скользнули с затылка и потекли по плечам, худые кочерги маленьких рук, босые ножонки из-под холщовой замызганной, там и сям залатанной юбки. Почему не дал тебе главный врач лазарета снежно-белый, чистейший халат, чтобы ты полноправной работницей вышагивала по коридорам

и палатам? Встань так, чтобы отразиться в зеркале. Так мне удобнее всю тебя охватить больным взглядом. Я вижу тебя и сквозь ледяное бельмо позёмки, вьюги.

Пусть в чудесном зеркале отразится то, что художник не писал никогда, а я, грешный, не видал никогда. Зато все узришь ты; юные очи зрячи, а дети, да будет тебе известно, видят то, что не видят взрослые: они видят потусторонний Мирь. Зеркало пусть станет нашей Библией, нашей Псалтырью. Я знаю наизусть много псалмов царя Давида, ибо я их и читал, и пел во храме, и плакал над ними в тиши моей нищей кельи. А вокруг меня, по срубовым стенам, висели, лунно блестя и паутинно мерцающая, всё зеркала, зеркала – мою жизнь всегда отражали, мне давали ею полюбоваться, тщетной и тщедушной, и давали понять, что в ней надо менять, а что не надо, и рано ли умирать, и, наряду со мной, ничтожным, мне показывали царей земли, её лекарей, её портных, её солдат, её судей. Народ вздымался и клокотал в чудовищном зеркале, и накатывал прибоем, и отступал, тихо ворча или дико крича, а после воцарялось торжественное молчание.

И, ты знаешь, молчание нарушал лишь твой голос! Далёкий, жалкий голосок! Я слышал, как ты кричишь мне из зеркала: батюшка!.. батюшка!.. очнись!.. ты не мёртвый, ты же живой!.. живой!.. Я очнулся и стал искать глазами зеркало, чтобы увидеть там мой народ, и не видели свет мои глаза, и понял я, что ослеп, и заплакал, а руки твои, ловкие, быстрые и худенькие, невесомей крыльев стрекозы, отирали мне слёзы со щёк, заросших щетиной. И ты была звёздная стрекоза, а я был старый леший, и века проходили, пока дрожали надо мной твои сетчатые прозрачные крылья.

Я всю мою жизнь, дитяtko, пытался вразумить людей. Быть может, это значит – поучать. Кто из нас имеет право учить? Внушать? Вести за собой? Учил, милая, только Господь. Нам ли, каждому, этого не знать! Даже грешники знают. Тем паче знают, чем дальше отстоят от вдыхания жарких либо ледяных ветров, коими дышат праведники. Вот я великий грешник. И каялся я каждодневно. И пытался не совершать грехов, в которых покаялся; однако диавол рядом, он за плечом твоим, и, чуть зазевался ты, одолеет он тебя.

Вот служба во храме. Для иного иерея она – театр, виньетки позолоченные, музыка как украшение басом поющих вечных словес. А для иного – исповедь. Стоит священник у аналоя и кается, кается. Думаешь, паства того не понимает? Да ходила ли ты во храм? Да стояла ли в очереди исповедников и причастников? Тихо, тихо... не говори ничего. Зеркало нам всё с тобою скажет.

Зеркало всё отразит. И заскользим мы в нём, из нашего Мира в Тот Мирь, хотя и пути не знаем, и вехи не видим. Нас ведут. И мы идём.

И все мы друг у друга учимся.

И учитель благодарен ученику, ибо зрит через ученика небеса неведомые; и ученик благодарен учителю, ибо даёт ему учитель на тропе Времени обогнать себя.

Что спросила? Помню ли я имена всех, кто в зеркале отражён? Всех встреченных на пути? Много людей прошло сквозь сердце моё. Сокровищами моими стали они. Имена их помню не памятью – кровью. Ибо они – мой народ; и я – народ их родной. А власть над собою любую смиренно приму. Ведь, знай, кто-то на земле сильнее, кто-то слабее; и слабый вдруг окажется сильным, и сильный внезапно потеряет бразды правления и силу приказа. И счастлива так власть, что с Богом единое целое составляет. Как той звезды достигнуть? На каком прочном корабле?

Владыки рожают детей, нанимают им воспитателей, выкармливают их лучшими яствами, развлекают их дикими и домашними зверями, бархатными и шёлковыми нарядами, жонглёрами и липипутами, и печальная карлица читает княжичу по слогам древнюю, как кости Левиафана, книгу, и нежный карлик в огромной шляпе поёт принцессе Ангельские песни, и при этом слёзы стекают по его грешным щекам, а на стене мироточит святая икона, рассылая вокруг неземной аромат. Кошки бродят по изукрашенному росписями терему, собаки громко лакают ключевую воду из серебряных мисок, и, дитя, помни, богатый дворец – ещё не весь Мирь, и никакое богатство в целом свете не стоит одного тихого поцелуя того, кого больше жизни любишь.

Стой так! Зеркало отражает тебя. Вот теперь я вижу тебя из трёх пространств, да нет, из трёх моих Вреён, о которых сегодня расскажу тебе, не утаю ничего, и ты будешь вспоминать мой рассказ всегда. Открою тайну: вспоминая меня, ты всякий раз будешь проживать со мною мою жизнь. Жизнь – не просто зеркало, висящее на стене в заляпанной красным кадмием мастерской художника. Жизнь – это одно зеркало, и другое, и третье, и сотое, это великое множество зеркал, отражающих друг друга, отражающихся друг в друге, уводящих нас от самих себя – в гудящий наш народ – на-

смешливо и бесповоротно, сверкающих остро наточенными ножами, нежно льющих с посмертных небес звёздное золотое руно. Кто выдумал зеркало? В незапамятные, допотопные времена красавица гляделась в гладко обточенный чёрный лабрадор, и это была ты. Маленькая девочка с двумя белыми, выюжными косками по плечам, хлебные веснушки по щекам, острые локти торчат в стороны, босые ноги в цыпках. Ты такая красивая! Не наглажусь на тебя.

Проходят долгие века, шествуют мимо тяжкие тысячелетия, становятся легче пуха, призрачной предрассветного сна, накатывают из забвения людские валы, бьют о берег всеобщей тоски, бьют о берег моей единственной радости, разрушают её, напоследок целуют горячими брызгами, это люди текут перед Вселенной моих зеркал и уплывают в никуда, это люди струятся перед моим портретом и даже не останавливаются перед ним, и не косят в меня жадными очами, и не разглядывают в линзы, чтобы приблизить не к пылающему сердцу, а к сугробному, холодному разуму своему, – и уходят, уходят, а я, несчастный, смотрю им вслед, я не знаю, как их остановить, ведь они есть Время, а Время остановит только Господь на Страшном Суде.

А люди всё идут, идут торжественно и бесконечно, и Время всё длится, и Страшный Суд, где он, кто кричит – завтра, кто – слишком далёко, отсюда не видно, и кто цепляет на грудь ордена и гордится ими, кто сдавленно плачет в углу бедной хибары, кто венчается в деревенском храме, кто держит над женихом и невестою златые венцы... кто?.. да ты же и держишь, малютка, нежное дитя моё.

Что спросила? Почему никто зеркало не разобьёт? Не расколотит суковатой палкой все зеркала? Почему все молятся и терпят, плачут и любят, молчат и ненавидят, идут и идут? Всё мимо и мимо? Время всегда – мимо. Такова его природа. Я, священник, я века напролёт занимался Временем; помолясь, я просил Бога сурово не наказывать меня за то, что я пытаюсь разгадать Его святую загадку, а напротив, помочь мне в изысканиях моих. И часто я чуял себя живым мостом, перекинутым через времена. Однажды, после Литургии Василия Великого, огромной, как Мирь, и великого священного труда Причастия я сидел дома, у смертного одра жены моей, тетрадь моя, куда заносил я смутные и грешные раздумья мои, была широко распахнута, как белое поле; и перо само начало чертить на белом листе фигуры: клубком, как спящая собака, свернувшийся скелет ребёнка, тьму земли кругом, над погребённым – шествие жизни: вот идут быки, вот бегут кони, вот бредут, витые рога выставив вперёд, мощные бараны, вот плывут сонные рыбы, вот летят птицы, и среди них – царица Жар-Птица, и нет жизни конца, и нет начала. А детский скелет спит в земле. И сколько других, тысячи тысяч, тьмы тем, мириады мириадов, спят в брюхе земли и ждут Страшного Суда? Или – не ждут?

А кто ждёт? Души живые?

Да, дитя, я мост через миры и века. По мне идут звери, катятся повозки, адские военные машины грохочут и взрывают стальными гусеницами землю: чернозём и подзол, наледь и грязь. Иди по мне! Я сам лягу тебе под ноги. Старость уходит, юность идёт по ней, топчет её, веселясь. Тебе не разбить моё зеркало! Пусть это сделает другой, не ты. Тебе же нравится отражаться в нём. И какая тебе разница, нарисованное зеркало или настоящее: отражение плывёт и живёт, оно живёт отдельно от тебя, от наших желаний и предпочтений, оно замыкается на собственную загадку, пылает своим огнём. Любезное дитя моё, взгляди внимательней в меня! Неужели ты не различишь в моём старом, изморщенном лице твоё лицо? Ах, ты никогда не видела твоего отражения в зеркале? Ты не знаешь, что такое зеркало? Тогда тебе трудно будет объяснить мою чистую радость. Я давно не человек. Я зеркало. Я отражаю Мирь. Будь добра, загляни в меня. Пусть ты там не увидишь себя. Зато Мирь ты увидишь.

Войди внутрь меня, не бойся, войди внутрь Мира. Это только с виду страшно. Это только кажется, что трудно. Мы, изъятые из Мира, всегда можем войти в Мирь; вернуться. Да, мы возвращаемся в него, рождённые им в муках, отторгнутые им. Перерублена пуповина, коей привязаны мы к Матери-Земле. А мы, вырастая, возвращаемся! И мы, умирая, отражаем весь Мирь: всех людей, все войны, все рыдания и праздники, всё Время! Время истекает кровью. Мы не можем в нём присутствовать: нам отмерен срок. Но мы можем отразиться друг в друге, и зеркала щедро подарят нам бесконечность.

Деточка, я совсем не умён. Я неразумен, я глупец, я не понимаю того, что для других людей лежит на ладони и внятно им, как «Отче наш». Но я хочу поведать тебе повесть, ты мнишь, о себе самом, а я говорю – я тут всего лишь отражение многих и многих людей, что медленно шли, текли мимо меня и тихо становились мною. Как хочешь, так и понимай! Если печально станет тебе и захочешь ты плакать – уйди, я не неволю тебя. Я не буду хвалить себя и очернять себя, не буду короновать себя или казнить себя; ты сама всё поймёшь, ведь амальгама зеркала такая серебряная, праздничная, такая

чудесная, она мерцает Луной и сверкает Солнцем в небесах, она освещает моё сердце изнутри, и ты увидишь, как оно бьётся Полярной звездой в зените, не в клети измученных рёбер.

Я расскажу тебе о малом. Я расскажу тебе о многом, а может быть, даже обо всём. Я жил так долго, так безмерно долго, что мне внятно стало всё на свете страдание людское. Я собирал слёзы людей в горсть и в пригоршню, омывался ими, как Крещенской водой из чёрной, на синем снегу, проруби, и чужие слёзы текли по моему лицу и смертному телу, и я плакал вместе с другими душами живыми, коих не знал и не узнаю никогда. Ерунда – знать! Счастье – чувствовать! Жизнь – это чувство, и восчувствуй, и возрадуйся, и восплачь, и ужаснись, и мучься без меры, и умри, и воскресни. Бог нам примером. Звёзды примером нам: они угасают, а после вспыхивают опять. Не бойся смерти. Умирая, ты рождаешься в жизнь. Только там иное чувство, иная речь, иные флаги счастья, иные хоругви боли. Пока мы тут, на земле, нам больно именно так; перейдем в Мирь Иной, и нам больно станет по-другому.

Детонька, что смеёшься? На лбу у тебя сегодня красный платок, а частенько ты приходишь в палату в белом. Я по дыханью твоему твой платок различаю. Многое внятно, если ловить чужое дыханье, прислушиваться к нему, к его хрипам, к его легчайшему дуновению. Скажи мне, ты пишешь стихи? Напиши стихи о нас с тобой. Как ты ко мне приходишь в палату и сидишь около моей железной, последней койки. Я не боюсь говорить с тобой о смерти, она равна для юных и старых. Она для всех, она хлеб. Спой о ней песню! Бормотать о ней не боюсь, а её самоё боюсь. Самого момента перехода. Как на ступень спущусь? А может, поднимусь? Как порог переступлю?

Знаешь, я от мук, причинённых мне, человеку, людьми, братьями моими, весь выгорел внутри, вместо печени – пепел, вместо потрохов – порванные струны, вместо сердца – кровавый комок. Сдери с головы красный платок и зажди в кулаке: вот тебе сердце моё. А ведь сказано в Писании: где соколовище твоё, там и сердце твоё. Где теперь сердце моё? Ужели в небесах? Нет, ещё нет. Здесь, на земле? Но и земли мне уже не видать. Так где я? На железной койке в тюремном лазарете? Железная койка моя земля. И ты, дитя, ты моя исповедница, я твой причастник, а ведь сколько лет я исповедовал и причащал людей.

Не сетуй. Заминки в исповеди моей не выйдет. Ведь я в последний раз исповедуюсь на земле, и не одной тебе, ты же понимаешь, а всему существу: моим тюремщикам, что больно били меня, стенам лазарета, что пахнут сырым, просолённым морем деревом, а иногда подгорелой кашей, а иногда вяленой рыбой; близкому морю, слышу, как оно мерно гудит, поёт за стеной. Я исповедуюсь всем близким и далёким, всем яростным и милостивым. Быть добрым! Всё прощать! Что это? Зачем это? Господь нам это заповедал или мы сами, грешные, догадались? Время режет нас на куски, как свежесвыловленную рыбу, а мы думаем, это мы его разрубили, расчленили, и варим его плоть в громадном котле, и котёл тот давно не чистили, он весь во ржавчине, в жире, в окалине. То всего лишь сон наш! А явь такая: Время приходит, взмахнёт ножом – и отрубит нас от самого дорогого. И корчись на берегу, на мокром солёном песке, под ледяным ветром с Северного полюса, в бессилии и тоске.

Ты вот не сочиняла ни стихов, ни песен, а я, слепец, тебе нежные стихи сочинил. На память. Лежу тут один днями, ночами напролёт, не сплю, пою. Никто не слышит. Я тихо пою. Мне всё равно, пусть больные думают, я сумасшедший; благословенны юродивые Христа ради, и благословен Мирь, что их сечёт плетью, гонит и терзает: без боли ты, живой, живая, никогда не узнаешь правды.

Вот слушай. Я тихонько.

Я подобен пастуху Давиду... и Роману Сладкопевцу, и... Не держите на меня обиды. И не тратьте на меня любви. Не обрушивайте гнев и ярость. Не сверкайте факелами глаз. Я не знаю, сколько мне осталось, и тем паче каждому из вас. Я подобен всем царям и нищим... я подобен рекам всем, ветрам... и воде, и занебесной пище... Люди, люди!.. я подобен вам... Каждому, хохочущему громко. Каждому, кто слёзы льёт во тьме. Я подобен старцу и ребёнку, и заплате на святой суме. Брёл... упал... рубцы и шрамы... раны... Бичеванья крик и благодать... Деточка, умру сегодня рано... но успею чудо рассказать... Сядь поближе на железной койке... домовина – панцирная сеть... Ты не плачь. Платок в руках не комкай. Ты поверь мне: сладко умереть. Я часовня. Дверь моя открыта. Купол мой серебрян и незряч. Я подобен пастуху Давиду... ну а ты, Вирсавья, ты не плачь...

Понравилась песня? А это всё правда. Исповедь – это чудо. Многие думают: ну, пришёл во храм, набормотал священнику да себе под нос всякую поганую всячину из своей жизни, нечто утаил, стыдно, либо намеренно очернил себя, забыв, что самоуничтожение паче гордости; а кто искренне

признаётся во всём, тот слезами заливается, повествуя, тяжело сдирать исподнее бельё и обнажаться; и немногие, слышишь, немногие чувят: исповедь суть чудо, исповедуясь, ты становишься всем сущим, Белым Светом обширным, Царём Космосом в смоляной, антрацитовый, расшитой турмалинами и лалами парче, и звёзды в тебе шевелятся, играют, и мерно, медно, медленно идут по угольному, дегтярному полю, будто коровы с алмазами во лбу, и перебрывают великие небеса вдоль и поперёк, уходят вдаль, навсегда, – ты, признаваясь в содеянном, никогда больше не вернёшься туда, где ты это сотворил. И чудо в том, что тебе иерей грех отпускает, а ты всё равно помнишь его, помнишь и ненавидишь, помнишь и любишь.

Не уходи. Тебя я умоляю, есть такая песня. Её пел один мученик, такой, как я. Дитя, а ты ведь рядом с мучеником сидишь! Я то без гордыни произношу. Перед смертью ложь не говорят. Истину вышёптывают! Не уходи... слушай...

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Село, где родился, не скажу тебе названия его, забыл, очень любимо было мною. Я любил его, едва осмыслил видимый Мирь, глядя на его красоту и безобразие широко распахнутыми глазами; глаза, доченька, это двери, и через них всё входит в тебя – и ужас, и благословенье, и тяжело им, обнявшимся, выйти наружу. А может, я любил мою Родину ещё до рожденья; Родина ведь в нас течёт, она наша кровь, наше упование. Не изменим ей. Не поглумимся над ней. Отец мой был беден; так беден, что иной раз, созерцая наш быт и домашнюю утварь, я забивался в угол, закрывал ладошками лицо и сотрясался в бессмысленном плаче. Нищету не поправить. Не залечить. Она как родимое пятно. Я тогда не знал, что возможно враз разбогатеть, а потом внезапно потерять всё драгоценное; мой отец был никто, да, видно, так и надо назвать его: никто, и звать никак, прости, шутить я не умею. Отец был всем и ничем. Он много чего умел, руки у него были золотые. Он пилил и рубил, колол, строгал. В нашем бедном доме он всё сам смастерил: из найденных на задворках досок сколотил двери, сделал стол и табуреты, сложил жалкую крохотную печку в бане, похожей на сарай, чтобы семейству можно было печь растопить, воду согреть и помыться. Нас, детей, было трое, а матери у нас отродясь не было. Мы росли при отце и думали, что так и надо. Хотя видели во чужих дворах баб, тощих и толстых, а также древних старух и понимали: вот женщины, и они занимают место под солнцем, и делают дела, и возятся с детьми, значит, так тоже на земле бывает.

Однажды через наше село проезжал один богатый человек. То, что он богат, я понял сразу, выбежав на дорогу; железная повозка громко тарыхтела, когда путешественник проезжал мимо нашей хижины. Мы, дети, побежали, как собаки, рядом с повозкой: два моих брата и я. Закричали, запрыгали. Я, младший брат, завопил громче всех: гляньте! гляньте! царь едет! Конечно, никакой это был не царь. Но железная повозка блестела на солнце ярче павлиньих перьев, играли изумрудами стёкла, в дверцы вставленные; высывался из окошка наружу человек, и видно было нам, ребятишкам, – пиджак бархатный, в галстук алмазная заколка, на обшлагах рубахи жемчужные запонки, и всё это великолепие сверкало нестерпимо и резало нам глаза.

Богатей услышал наши неистовые вопли и увидел нас. Остановил авто и вышел вон. Пошарил в кармане, наклонился к нам, детям, и рассовал нам по рукам то, что в кармане пиджака нашёл. Деньги бумажные и медные, красивые камешки, странные украшения: броши без заколок, одинокие серьги, бусы без застёжек. Мы на дядьку воззрились да заорали ещё пуще! Он впрыгнул в железную повозку и укатил. И только пыль вилась на дороге беличьим хвостом.

В тот вечер мы ели за ужином жареное мясо, яичницу, солёные огурцы, свежайший ситный, пили парное молоко, настоящий крепкий чай, а не собранные отцом в полях и лугах травы, и к чаю были поданы земляничное варенье и сахарная голова, и отец, смеясь, разбивал эту смешную голову своим плотницким молотком на мелкие острые кусочки.

Тогда я понял: хорошо быть богатым. И тогда же догадался: а мне богатым никогда не стать. Яблоко от яблони недалеко падает, ты ведь знаешь. К нищете мы, вся семья, привыкли.

Время нанизывало на нить слёз каменные годá, отец старился – и вот однажды умер. Мы с братьями похоронили его, как могли. Я, как мог, прочитал заупокойную молитву на его свежей могиле, я молился своими словами, нигде я не слышал их, не читал. Старший брат научил меня грамоте. Алё-

ша, говорил он, в школу не ходишь, так давай я тебя поучу! Брат ходил в школу, но бросил её: у них со средним братом были одни валенки на двоих. Летом мы бегали босиком. Как все в селе.

На самодельной этажерке, около печки, стояли наши книги. Я все их прочитал. Рано мальчонке было читать французскую книжку про толстых великанов: множество неприличностей я там отыскал и втихаря потешался. Раненько было нырять в любовные рассказы; на титульном листе красовался портрет создателя книги – утончённое лицо, нежные усики, печальный надменный взор. Знатный господин, думал я, и наверняка богатый, нам с братьями не чета. Я все его рассказы прочёл; рано я узнал, что женщину надо обнимать и целовать и ложиться с ней в кровать, тогда тебе станет хорошо, а после ты будешь плакать, да и она заплачет, но это ничего не стоит в сравнении с испытанной радостью.

У нас в селе стояла церковь. Маленькая, как уточка, она плыла по окрестным буграм над широкой и мощной рекой. Уплывала в разнотравье. Однажды я туда примчался, босой прибежал, ноги купались в пыли, головёнку напекало солнце. Я вбежал в могучие двери и замер: на меня рухнула штормовой волной музыка. Музыка меня сотрясла и обняла, я испугался и убежал. Пока бежал домой, плакал, но того не понимал; прибежал, а всё лицо мокро, я утирал его грязными ладонями и хохотал и плакал одновременно. Над собой смеялся, а ту чудесную музыку боялся вспомнить, но никогда больше не забыл.

Иной раз мне, ребёнку, казалось, что я уже взрослый. Я воображал себя таким же, как тот знатный странник в железной повозке: то владельцем усадьбы, то повелителем народа, то музыкантом, вот стою, на скрипке играю, а ещё лучше – пою, и люди в зале громко хлопают мне в ладоши, а вот я священник во храме, и на животе у меня, поверх рясы, лежит великанский золотой крест. Чаще всего я представлял себя врачом. Деревянный стетоскоп в руке, белый халат чище первого снега. Склоняюсь над кроватью больного, и он больше никогда не умирает. А, выздоровев, песни поёт.

Два моих брата выросли, старший поступил в услужение в городе, другой остался в селе и работал по найму: то баньку кому срубит, то доски с лесопилки привезёт, то крышу черепицей покроет. Мы с ним ютились в отцовской бедной избёнке. Старший прибыл летом, вкусить ягод и закупаться в родной реке, и изрёк: а тебе бы, Алёшенька, надо бы тоже в город перебраться, давай я тебя санитаром в лазарет устрою. А что такое лазарет, спросил я, как дурак. Лазарет, наставительно поднял палец старший брат, это такой большой дом, где лежат больные люди, много несчастных больных людей, а доктора их лечат, у докторов свои заботы, как получше больного вылечить, а ты бы там докторам помогал, сновал туда-сюда, тазы с водой им подносил, чистые полотенца, грязь из-под коек метлой выметал, мыл полы, окна в палатах настежь распахивал, чтобы болящим было чисто и вольно дышать. Ну как, поедешь работать в лазарет?

Я кивнул. А что мне оставалось делать?

И ещё мне стало жаль больных. Вот бедные, думал я, валяются на койках, встать не могут, стонут, плачут, страдно им, томно! Ну как им не помочь! Конечно, надо помочь! Помогу!

И тогда, в те поры, мы отправились в город вместе с братом.

Средний брат стоял на крыльце и махал нам рукой. Мы то и дело оборачивались и ответно махали ему. Шли мы к железной дороге, через поле и лес, а потом опять через поле. Жужжали шмели. Старший аккуратно нёс в руке маленький картонный чемоданчик. У меня за плечами моталась самосшитая котомка. Босые мои ноги мелькали у меня перед глазами, когда я опускал взгляд. Мы добрались до станции, отдуваясь, обливаясь потом, жара крепко обнимала нас, дождались железных вагонов, бегущих по рельсам в будущее, сели и поехали, и потряслись, и полетели. У брата, это было удивительно мне, уже водились деньги в карманах, как у того памятного богача; он купил нам настоящие билеты и настоящие пирожки с капустой в станционном буфете.

И стал я прислуживать в лазарете. Далёко от города, где жили мы с братом, шла война, и в лазарет наш то и дело привозили раненых. Я ещё не знал тогда, что война идёт всегда и раненых будут привозить всегда, во все времена. Я наивно думал: ну ничего, времечко пройдёт, этот ужас скоро закончится и наш лазарет превратится в обычный госпиталь, где будут лечиться все, кому не лень, не только солдаты и офицеры. Но плохое время всё не кончалось, а крови лилось всё больше, и вот наконец её стало литься слишком уж много, и палаты не вмещали всех страждущих. Я еле успевал отмывать от крови крашенные масляной краской полы. Я белил оконные рамы и подоконники, когда

в палату вбежала растрёпанная девушка, лицо у неё было перекошено, как старая стреха, и провизжала истошно: люди! люди! вы слышали! революция!

Я не знал, что это. Воззрился на девицу, а она возьми и упади на пол, плашмя, и громко стукнулась головой об пол, я подбежал, а она уже закатила глаза, и тут я увидел, что у неё простреленный бок залит кровью, и кровью пропиталась длинная неуклюжая юбка, и она кровью своею захлебнулась. Это была вторая смерть, которую я зрел в жизни, после отцовской тихой кончины в родной избе.

Революция изломала прежнюю жизнь и соблазнила другой, несбыточной. Люди привыкали к новому порядку вещей; люди ко всему привыкают, и Мирь становится единым лазаретом, где все страдают, вопят, смеются, молятся, едят, пьют, выздоравливают и умирают, но только никогда, никогда не воскресают. Я рос в лазарете, как фикус на белённом мною подоконнике. И я вырастал, и я осознавал себя, лазарет и таинственный Мирь за окном, где бесконечно творились революции и войны; и я, ухаживая за ранеными, посильно участвовал в страшных и прекрасных событиях, ибо тот, кто живёт, не может не жить, кто дышит, не дышать не может.

Я, молодой, хотел стать героем. Кто в юности не хочет стать героем! Врачи потихоньку научили меня не только мыть грязные полы, но и перевязывать раны, я помогал хирургам на операциях, не падал в обморок при виде разверстых внутренностей, вовремя подавал иглу и кетгут, а иногда и скальпель, и следил острыми юными зрячками, как делает разрез хирург, что он находит внутри человека и вынимает, выдирает, выбрасывая в кровавый таз, а что накрепко сшивает, не раззять. Я всё запоминал. Не думал, что это мне пригодится. Просто молодой организм как хлеб: его окуни в воду, он впитает воду, окуни его в рассол, он всосёт в себя рассол, окуни в вино – он впитает вино. И станет Причастием. Святыми Дарами.

Красные полотнища вдоль улиц! Колыханье знамён, рук, голов на площадях! Народ наш стал морем. И я стал в народе волной. Я катился, накатывался на берег прошлого. Понимал: надо не наблюдать Время, а вбирать его, глотать! Иначе оно нахлынет на тебя и потопит тебя.

И настал день.

Я, санитарышко, мальчишка, ассистировал маститому хирургу, а на ярко освещённом голом столе лежал голый человек, лишь ноги его были укрыты чистой простынёй. Врач взмахивал изящными руками. Он дирижировал жизнью и смертью. Внезапно раздался сумасшедший звон. Будто массивная старинная люстра свалилась на пол из-под потолка. Я отскочил. Врач постоял немного над оперируемым, покачался странно, как пьяный. И повалился на пол. Искал рукой неведомое. Пытался разжать рот и вытолкнуть слово. И не мог. И на груди у него, по белому снегу халата, расплывалось алое дикое пятно. Это пуля влетела, разбила окно, вслепую нашла жизнь. Оборвала её.

Хирург не терял сознания. Он глазами показал мне на стол. Протянул ко мне руку. В кулаке скальпель. Он тянул мне, мне хирургический нож! Острый, как молния!

Он всё понимал, я – ничего. Я схватил скальпель и шагнул к столу. Раненый хирург пробормотал: – У него пулевое... и у меня пулевое... оперируй... ты знаешь всё...

Я поднял скальпель над распятым на чистом столе телом человека.

Тело человека – тесто. Его можно мять, шлёпать, резать, крошить, кромсать. А что же тогда душа? Где она прячется?

Я спросил раненого врача, на полу лежащего в корчах:

– А кого сначала? Вот его или, может, вас?

Я прохрипел эти слова, как древний старик.

И он выплюнул последнее хрипенье мне в ответ:

– Его... он уже готов... меня... разденьте...

Пока ошалевшие нянечки в белых фартучках стаскивали с доктора одежду, он умер. Я же в это время вонзил скальпель в тугую плоть человека и безжалостно разрезал её, и было мне страшно, и я дрожал, будто стоял на берегу зимней зальделой реки под сильным ветром, и ветер валил с ног, а я всё стоял и стоял, всё резал и резал, и разымал красное тесто голыми руками, и всхлипывал, и моргал, слёзы ослепляли меня и заливали лицо, захлёстывали, я ими захлёбывался, а потом сосредоточился, стал яснее, твёрже глядеть, я всё помнил, что надо делать. И старенькой толстой нянечке, она ближе всех встала ко мне и тоже осиновым листом дрожала, я командовал, как настоящий хирург: иглу... кетгут... Погас над операционным полем свет. Перегорела лампочка. Другая нянечка,

молоденькая, девочка совсем, медленно подошла, зажгла керосиновую лампу и выше, выше, высоко подняла над нами.

Мёртвого доктора, пока я оперировал, подхватили под мышки и под колени и унесли из операционной. Кто были эти люди, я не знал. Не понял. Я ничего не видел тогда, кроме красной, сочащейся кровью, как вином, плоти.

Так, доченька, я стал доктором, молодым, без образования, самодельным доктором, и я понял, мне надо учиться, и меня отрядили учиться, и я учился бесплатно, сжалились над сиротой, и взрослые умные, опытные врачи терпеливо, подолгу занимались со мной, да не только со мной, там, где обучали на врачей, много юношей толклось, клубилось. Днём я учился, а вечером пребывал в лазарете, война всё шла и шла, и солдат всё привозили и привозили, и коек уже не хватало, раненых размещать, и я вдруг решил: лучше я на войне пригожусь, поеду-ка я на войну.

Поздно вечером я еле ноги притащил домой, в нашу комнатёнку, что мы с братом снимали. И сказал ему о своём решении.

– Я уеду на войну!

– Ты с ума сошёл...

Брат долго и слёзно говорил мне, что я юн, что я отрок, что мне рано.

– Я уеду!

– Жизнь твоя только началась, тебя убьют на взлёте...

– Пусть! Зато я спасу жизни других!

– Дурак, их убьют следом, завтра...

Брат наливал мне в гранёный стакан горячего чая, я ухватывал кривую ручку подстаканника и хлебал крепкий чай, обжигая глотку. Тогда мы поссорились, накричали друг на друга. Напоследок, постлавши себе постель, брат угрюмо сказал в стену, не глядя на меня:

– Не спеши, будет ещё война, тебя ещё успеют убить!

А потом обернулся и бросил, как кость собаке, зло и насмешливо:

– И порезать и зашить целую толпу – успеешь.

Тем не менее я сходил с ума. Время передо мной, перед моими глазами, а потом и внутри меня, будто я был женщиной и носил в животе живой огненный плод, то сжималось, то разымалось на части, то ложилось трепещущими слоями, то взрывалось, и я на миг терял зрение и кричал. Да, возможно, я и вправду одною ногой ступал в безумие, зато другою я прочно стоял на земле, я знал: есть болезнь и есть здравие, и я клал мою молодую жизнь к подножию общей, великой и кровавой Жизни-Распятия, в городе с храмовых колоколен лился то тяжёлый и гулкий, то нежный и прозрачно-птичий, весенний звон, а мне было недосуг заходить в церковь помолиться и поставить свечу: я задыхался от работы, и хирургия была моим светом в ночи, слоями моего Времени, моей любовью. Я не знал, что есть любовь, и я всё равно женился – на той самой молоденькой нянечке, что керосиновую лампу над голым столом держала, пока я впервые резал человека. Нас обвенчали, несли над нами золотые венцы, за скудно накрытым столом люди, знакомые и незнакомые, пили дешёвое вино за наше здоровье и семейство, и мне всё чудилось сном, да это и был сон, сон о счастье и Мире. Моя нянечка родила мне детей, а я всё дальше, всё бесповоротней уходил по дороге священного безумия. Безумие моё, дитяtko, заключалось в том, что я хотел не в одном лишь родном лазарете лечить людей, а пуститься в дальний путь – по земле, по войне, по широкому Миру, и на этой длинной, страшной и бесконечной дороге лечить, лечить, лечить. Дарить, дарить, дарить. Отдавать, отдавать, отдавать. И не брать. Не брать никогда.

Откуда такое желание ко мне пришло? Я никогда не задумывался о том, что есть Бог. Честно, мне было безразлично, есть Он или нет; главное, был я, и я хотел, я желал, я радовался и страдал, но моего «я» было мало. Смертельно мало! Я хотел размножиться. Рассыпаться, разрастись, разлететься на сонмы звёзд, хлебных крошек, брызг спасительной крови. Я совершил в лазарете переливание крови от себя – раненому солдату и возгордился: я своею кровушкой накормил голодного! Спас обречённого! Солдат, повернув забинтованную голову на подушке, во время переливания глядел на меня. Глаза солдатские слишком светлые, два копыя, летят впереди лица, белые, серебряные, будто седые. Эти глаза видели поля смертей. Созвездия смертей. Снопы смертей и её стога. Убитых людей

Время сгребало в стога, а я? Что я делаю тут? Да, людей спасаю. А столько людей на земле – меня ждут! Разве я их покину!

Безумие одолевало. Я снаряжался в путь. Я уже понимал, что сама жизнь, каждый встающий день – это путь; но мне до боли, до слепоты хотелось живого долгого пути по настоящей земле.

Спасать. Исцелять. Я не знал тогда про Пантелеймона Целителя; но я видел себя в пути – то в железной повозке, то в телеге, то пешим ходом я иду, иду всё вперёд, вперёд, и бедные, страждущие, больные люди, что встречаются мне на пути моём, тянут ко мне руки, а я к ним руки тяну, подбегаю, обнимаю их, а потом из котомы достаю вату, бинт, шприц, иглу, коробки и пузырьки с целебными снадобьями, а то и скальпель – живительный, спасающий нож: и убить можно, и излечить, – а можно убить по ошибке праведника, а можно излечить преступника.

Я догадывался: жизнь не однолика. Много хохочущих и плачущих лиц у жизни. Её не истолковать и не оправдать никому и никогда. Но можно пронзить собою, как иглой, на шприц насаженной, Время. Время! Вот что волновало меня. Я прочитал книгу про старого пророка Нострадамия, меня изумила его история. Врач он был, тот Нострадамий, равно же как и я! А вот поди ж ты, пророчил, угадывал грядущее. Я редко думал о будущем. Я знал: в будущем – смерть. Я отталкивал мысль о ней от себя: я и боялся её, и смирялся перед ней, и ненавидел её, и внушал себе, что она придёт, но не ко мне. А к кому-то другому! Рядом! Близко! А до меня не дойдёт. Споткнётся. Упадёт.

Это тоже был род безумия: я отрицал смерть, прекрасно понимая, что только она одна и есть в жизни. На моих руках уже умирали люди: и под скальпелем на столе, и на железной койке, и на улице, когда стреляли, палили вслепую из-за угла в белый свет как в копеечку, и я бежал мимо убитых, а внутри меня кричали, вопили их убитые голоса: спаси! Помоги! Даже если нельзя помочь!

ДАЖЕ ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ ПОМОЧЬ.

Огнём этот крик горел внутри меня, я его помнил всегда, я пытался стряхнуть с себя это огненное клеймо, но безнадежный вопль всё звенел в пустом, пахнущем порохом, потрясённом воздухе, и я был потрясён всем: болью, войной, Временем, собой. Я не знал себя. Но каждый божий день я собирался, снаряжался в путь, и снаряжение это было никакая не экипировка, не добыча крепкой одежды впрок, не покупка провизии, – я, пока дети мои кричали в колыбелях, собирал в долгий путь пожитки сердца моего, собирал скальпели, иглы и кетгуты души моей в дорожную суму. По карманам рассовывал, как тот мимоезжий богачей, дорогие самоцветы и жалкие монеты воспоминаний, признаний, смеха и слёз.

Ты спросишь: может быть, так посетило меня желание совершить подвиг? Молодые люди часто мечтают о подвиге. Я ничего не говорил жене; она хлопотала на кухне, возилась с детьми, а я сутки, недели, месяцы и годы напролёт пребывал в моём родном лазарете – и всё собирался, собирался, собирался в дорогу.

Понимал: да, всё нужно с собою взять – и еду, и тёплые вещи, и лекарства, и хирургические инструменты в стальном контейнере, чтобы на спиртовке можно было их вскипятить, если понадобятся, и обеззаразить; и фотоснимки любимых, незабываемых, и деньги, хоть немного, и, может, даже револьвер, а вдруг придётся отстреливаться от разбойников. Револьвер у нас дома имелся, тихо лежал в верхнем ящике письменного стола. Я не знал, откуда он появился. А брат мне не говорил. Жена знала, где хранится оружие, но тоже молчала. Ничего не спрашивала.

Пораздумав, револьвер я решил не брать. Подумал: если суждено умереть от чужой руки, умру! Приучал себя к мысли о смерти, повторял: она придёт и ко мне. Выбирал день ухода из дома. Со дня на день его откладывал. Задумаешь нечто важное, и всегда оттягиваешь момент, когда надо это важное сделать. Родить.

Бабы вон хорошо говорят: родить, нельзя погодить.

Жена моя то болела, то выздоравливала. Однажды мне причудилось – она умирает. Я напоил её лекарствами, укрыл тремя одеялами. Она молчала. По её лбу катился пот. Она тяжело и долго смотрела на меня. Я – на неё. Я шептал ей: ты будешь жить.

Я повторял старинную молитву: неужели мне одр сей гроб будет?

Дитя моё, прости, я забыл, выздоровела моя жена или умерла. Я так часто хоронил людей. Глубоко во мне звучала музыка, она заслоняла от меня происходящее, как занавеска закрывает горящий перед окном фонарь. А может, мне лишь приснилось, что жена при смерти и я сижу у её смертного ложа и вслух читаю святую книгу Псалтырь, какую всегда у постелей умирающих читают.

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие моё. Слышишь, какая музыка?

Я вынашивал мой путь в себе. Я слишком часто и ярко его воображал. Приближал. Уже в руках держал. Мой путь был моей птицей. Моим живым Ангелом. Моим искуплением. Перед тем как уйти навсегда, укладывая скальпель в железный контейнер, я поцеловал его: так древние князья целовали перед битвой свой меч.

Помню, как на сон грядущий я расцеловал жену и подошёл к нежным кроваткам детей. Дети уже спали. Я склонился и припал губами ко лбу дочки. Потом поцеловал сына. Под моим ртом поплыла волна родных запахов, чуть вспотевшая кожа, поплыла жизнь, стронулась с места и стала уплывать, удаляться, и я не мог её остановить. Время текло нерушимо, невозвратно. Не помню, сказал я тебе о Времени, дитя? А видишь, как я хорошо всё помню.

И когда жена уснула, я зашёл в кладовую, подхватил там солдатский мешок, закинул его за спину, перекрестился, беззвучно распахнул дверь и переступил порог.

Что меня вело? Кто надо мной висел то в морозном, то в дурманящем весеннем, то в пыльно-солнечном, то в сыром, уставшем от дождей воздухе, вспыхивая, светясь, неслышно плача, улетаая, возвращаясь, мерцая? Я ни о чём не думал. Я шёл. Я превратился в действие.

Есть разница: ты мечтаешь о том, как жить, или ты так живёшь.

Я хотел подняться на ступень выше.

Или ты любишь, или ты сама любовь.

Я ещё не знал тогда про святого мученика, что сказал сарацинам: АЗ ЕСМЬ ЛЮБЫ. Но я хотел стать не наблюдателем жизни, а самой жизнью. Ею можно стать лишь тогда, когда ты ничего не боишься. Это трудно. В человеке глубоко и навечно поселился страх. Живёт там, не умирает. Страх бессмертен. Гвозди Распятия в ладонях, во ступнях – тоже страх. Я шёл по своей первой дороге, от дома на вокзал, и вдруг, непонятно почему, постучался в станционный домик: там горело окно. Старая работница железной дороги отворила мне дверь. Я переступил порог, опустил котому наземь. Старая женщина пристально смотрела на меня. Я ждал, когда она меня о чём-то спросит. Она молчала.

Молча набросала дров в подтопок, разогрела чайник. Молча выставила на стол кус подсохшего пирога. Я вынул из перемётной своей сумы хирургический скальпель и, усмехаясь, молча разрезал им, сверкающим, старый пирог. На два куска. Она взяла свой, я – свой. Мы медленно жевали чёрствый пирог, прихлёбывали пахнувший хвоей чай, и я удивился тому, что можно не говорить, молчать. Сидеть и молчать. Есть и молчать. Разговаривать молча. Глазами. Сердцами.

После трапезы я пожал обеими руками её руки. И из её глаз по её щекам покатались слёзы.

Я смотрел на эти слёзы и думал: вот горе, я вижу его, надо помочь.

– Хотите, я буду вашим сыном?

Сморщенное лицо на глазах становилось святым ликом.

– Хочу. Откуда вы знаете, что у меня сына убили?

Не помню, что я ответил. Помню, что прошептала она.

– Ты на войну идёшь, сынок?

– Да. На войну.

– Ну, Господь храни тебя.

И она перекрестила меня широким, неохватным, как ветер, крестом.

Я закрыл глаза и ясно, ярко увидел перед собой её убитого сына. Он лежал на земле, раскинув руки, желая обнять небо. Земля была схвачена морозцем, расчерчена бело-грязными полосами злого хрустального инея; вдали маячил расстрелянный храм, стена осыпалась, и наружу, в ледяной Мирь, глядели искалеченные фрески, и ветер выдувал вон из сельского придорожного храма всё святое и намоленное. Потом я увидел убитого – живым. Сын вокзальной работницы сидел на корточках перед закопчённым котелком, хлебал расписной деревянной ложкой варево, весело глядел на меня. Сквозь меня. Он меня не видел. Только думал, что видит. Я услышал его далёкий, хриплый и весёлый голос:

– Эгей, Васька, давай, налегай, перед смертью хоть пожрать от пуза, напоследок.

Подошёл, вминая сапоги в ласковую плывущую грязь, солдат. Постоял над костром, над котлом.

– Перед смертью, товарищ, Богу молиться надо.

– А не Красной Звезде?

Солдат молчал и стоял над походным котелком, грозный и печальный, как судьба.

А потом повернулся и отошёл прочь: так уходит Время.

И оба солдата исчезли из круга света моих незрячих глаз.

Я бы солгал тебе, дитя, если бы сказал: я не вспоминал жену и детей. Вспоминал! Но светились они сквозь времена словно бы в жизни иной, не моей. Я не умел тогда молиться, но я шептал: Господи, смилуйся, Господи, помоги бедным моим, дальним. Ножки твои замёрзли? Дай укутаю их одеялом. Верблюжье, колючее, не греет, где они, милые, быстрые ноженьки твои? Умерли? Ах, нет, вот, живы, ну, грейся, согревайся. Плохо тут топят, печь дымит, а нынче она холодна, мертва. Да не будут топить, видать, мыслят так: всем болящим скоро помирать, нечего на них дрова тратить.

Молод я был! Любви хотел. В карман исцарапанного кошками кожаного пальто руку запускал и мял, сжимал билет на войну. Везде человеку нужен пропуск, билет, разрешение. Пешком на войну слишком долго было идти. А я трясся в железном вонючем вагоне и думал о любви. Надо ведь жадному молодому сердцу любить, без любви оно прах. Я шарил глазами по населению вагона: тот старик, эта старуха, в руках корзина, капустными листьями укрытая, за ними юноша, молочные губы, кисельные щёки, а где же та, о которой я буду мечтать? Твердил себе: мечтай о супруге, это законно, прилично, – но ветер жизни налетал иной, он сдирал с лица старую краску, обрушивал древние стены прочной кладки, и вниз, к земле, по кирпичам лились потоки крови – моей, чужой, небесной. И кровь, распаяясь, текла во мне другая. И всё чаще я видел картины, которые видеть человеку нельзя, иначе он потеряет разум.

Я многого хотел. На многое надеялся. Чтобы возлюбить людей, утешить их и обласкать, я ехал на войну. Война, царство смерти, манила меня новой жизнью.

Если совсем уж честно, я хотел узнать тайну смерти.

Я, молодой врач, уже зревший сто разномастных смертей, её не понимал. Зачем она? Как она происходит? Почему мы вытаскиваем человека из её объятий, иной раз больно, насильно? Зачем исповедаться перед смертью? Зачем прощаться? Где предстоит встреча?

И ещё тьма вопросов жгучими пчёлами летала, жужжала вокруг моей дорожной бессонной башки, и не было мне на них никакого ответа.

И вот, когда наш поезд, перестукивая громадными железными колёсами и всеми стальными по-трохами, гремя деревянным утлым скелетом, позванивая жестяными и картонными перегородками ящиков-вагонов, где ютились мы, бедные скитальцы, наконец, весь в саже и дымах, осторожно, как мышкующий лис, подкрадывался к последнему перрону, я вдруг увидел её.

А вот не надо было видеть.

Надо было закрыть глаза.

Но и с закрытыми глазами я бы её увидал.

Русая коса, туго заплетённая, с затылка перевалилась на плечо, текла по груди. Грудь дерзко-высокая, два наметённых за зимнюю долгую ночь сугроба. Щёки бледные, на скулах еле видный, призрачный румянец, потусторонний. Глаза медленно перевела от окна, куда глядела неотрывно, на меня. Я чуть не закричал: меня обожгло чистой небесной синевой. Я и не думал, что живые радужки могут хранить внутри такую Богородичную синь. Подняла руку и поправила пшеничную длинную прядь, завернула за ухо. Голова непокрытая, шубейка расстёгнута, кудрявая овечья шкура радостно выворачивается наружу. Я различал капельки пота у неё над губой. Не помню, рот улыбался или был скорбно сомкнут. Только небесные глаза летели сквозь меня. Я прочитал в этих странных, иномірных очах лишь одно, ужасающее, желанное: Я ТВОЯ ДУША.

Душа? А где она?

Что такое душа?

И зачем она в теле живёт?

Мои глаза вливались в её глаза, поселялись там навек, жили, плавали, вспыхивали, перемещались, припоминали, забывали. Из её синевы покатались светлые слёзы, и я заплакал. Слёз моих я не стыдился: разве себя перед своею душой стыдятся?

Она чуть выпрямилась, и я увидел, какая она мощная. Спину выгнула. Сильная стать. Крепкая, тяжёлая и радостная лепка лица. Щёки зарозовели сильнее, зарёй в полях. По полю её груди могли идти кони, коровы, молчаливые люди – вдаль, далеко, к новым небесам. Складки холстины струились, сама себе она в полутьме избы пошила платье, сама износит, сама сошьёт и саван, когда время придёт.

Я встал с жёлто-соломенной деревянной скамьи и направился к ней. И пока я шёл, я видел: тает лик, тают сильные рабочие руки, разымается на туман и тучи щека, заволакивается пеленою снега ясная слепящая синева. Где ты? Где ты, моя Душа? Зачем я не спросил тебя о главном? Куда мне идти? Прав ли я, что выбрал такую жизнь? Или это жизнь сама, смеясь надо мною во весь голос, выбрала меня?

Я растерянно стоял около пустой скамьи. Возможно, красивая синеглазая молодуха вышла на недавней остановке. А я не заметил, как железная гусеница встала, постояла, потом опять покатила вперёд. Всё вперёд и вперёд. Всё вдаль и вдаль.

Для себя я назвал красавицу Душенькой. Душенька, Душенька, шептал я, ты же моя Душенька, как же долго я жил без тебя.

Поезд содрогнулся и остановился.

Дальше не поехал.

Мы прибыли на войну.

Я, вместе со всеми, вышел на перрон и стал прислушиваться: где стреляют, где взрывы, где канонада, в какой стороне? Пространство молчало. Воздух нежно дрожал. Сколько мы ехали? Я не знал. Неделю, месяц, год, два? Когда я воочию узрел мою Душу, Времени уже не существовало. Я привыкал жить без Времени, но это было не безвременно; скорее вневременно. Да, я уже шёл по перрону и улыбался вне Времени, и мне было так легко, невесомо, я готов был расцеловать каждого встречного-поперечного, всякого, кто попадался на пути – хоть царя, хоть генерала, хоть комиссара, хоть торговца, хоть нищего, калику перехожего. Мой народ гомонил и кричал вокруг меня, и мне счастливо было чутя себя его семенем, маковой росинкой.

Шёл и шёл, спросил прохожего, где идут бои; мужик показал мне, прищурился, однорукий, пощупал целой рукой пустой рукав.

– Иди пешком, а хочешь, найми шофёра, а хочешь, останови телегу!

Я поглядел на дорогу. По ней катили грузовики, изящные авто, нелепые велосипеды с колёсами огромными, как облака; грохотали танки. Я впервые увидел танк и содрогнулся. Таким железным домом на скрежещущих гусеницах можно раздавить в кровавую лепёшку землю, годы, жизнь. И раздавленное – не воскресить.

А разве после смерти обязательно воскреснуть?

И кто, и зачем тебя воскресит?

Я вспомнил моих мертвецов в лазарете. Они мучились, выгибались на койке, обирали дрожащими скрюченными пальцами мятую простынь, потом опадали, как выбитый ковёр, кто прикрывал тяжёлые веки, кто так и лежал, с настезь открытыми, недвижимыми, мерцающими подземным льдом глазами. Смотрел я на них, юный врач, и думал: нет, нету там, за могилой, ничегошеньки, никаких мытарств, никакого воздаяния, никакого Ада и Рая. Ничего нет. Чернота. Пустота.

На дорогу я глядел, телег не видел.

– А разве сейчас остались лошади?

Мужик присвистнул и мелко, дробненько захохотал, и обнажились редкие, жалкие зубёшки.

– А как же! Сотни лошадок! Тыщи! Не сочтёшь! Кормилицы наши, поилицы... возилицы...

Я оглядывался.

– Да нет, говорю тебе! Какие лошади! Какие телеги!

Я шагнул на проезжую часть и вскинул руку. Остановилась железная повозка, водитель выглянул в окно, я встал на высокую ступеньку, забрался в кабину. Никогда не видал я таких машин, а вот увидел. Чудно ехать, сверху, из царской кабины, глядеть на мчащийся вокруг невозвратный Мирь.

– Куда тебе, старик?

– Я не старик.

– Брось! Все мы старики! В Лопасню, что ли? По дороге!

– Туда, где люди людей убивают, – тихо ответил я.

И парень, курево в зубах, снеговая улыбка, больше ничего не спросил меня.

Ехали молча и глядели в никуда.

Милая, светлая моя! Согрелась? Обо мне не беспокойся. Кому я сейчас нужен, горячий ли, замерзший! Помню то великое, дегтярно-чёрное звёздное небо над полем моего первого боя. Слух пронёсся меж солдатами: доктор приехал! Все сбежались глядеть на меня, как на диво. Попытались накормить. Я ел. Где я спал? Окопы, хатки, палатки, землянки, разрушенные срубы, сгоревшие сараи. Мы жили везде и спали везде. Не жалуясь, не разбирая. На войне никто ничего не говорит, только все всё делают. Война – молчаливое искусство.

Отдаются только приказы. Звенят крики команд.

И гром залпа. И летит огненная смерть.

Наше дело правое. Мы победим. А если не победим?

Что нас ждёт? Нас всех? И врагов, и друзей?

Некогда было искать ответов. Я еле успевал поворачиваться. Обезболить. Перевязать. Вытащить пулю. Выпростать из красного мяса дикий чёрный осколок, стальной коготь. Десятки осколков, иной раз и сотни, не вытащишь, изынешь лишь самые крупные, чтобы сильной муки не причиняли. Раны воспалялись. Гноились. Я вытирал лицо от пота и слёз гимнастеркой: мне выдали обмундирование; глубже надвигал на лоб каску: бойцы кричали, ты, доктор, ты давай береги себя, ты тут у нас единственный, тебя убьют, и кончен бал, погасли свечи, и в тюрьме моей темно! Кто нас будет спасать? Жизнь нам возвращать? Под моими руками не только оживали – умирали люди. Смерть солдата в бою, смерть солдата в лазарете. В бою – погиб смертью храбрых, а в лазарете? В лазарете – какую смертью умер? Почётной? Или незаметной? Назавтра тебя, лазаретный окровавленный тюфяк, забудут. Вынесут на задворки и сожгут. Подождут старую газету, бросят в тебя, и займёшься ты великим пламенем, и сгоришь в одну минуту, как тебя и не бывало.

Ночами солдаты старались отдохнуть – и мы и враги. Бой развязывали рано утром. Немного поспали – и за работу. Работа смерти тяжела. Страшна? Да. Первое, самое первое время. Потом привыкаешь. Глядишь из-под затянутой пятнистой тканью каски вокруг, туда-сюда. Откуда смерть твоя прилетит? И кто о тебе заплачет?

То и дело я оперировал моих воинов. Говорю «моих», ибо все они были моими, принадлежностью моих врачебных мыслей, моей души, моих работающих неусыпных рук, моего страдающего духа. Очень много было ранений в живот и в голову. В животе тaitся жизнь; в голове живёт мысль. А дух? Где он живёт? А душа? Душа?

Душенька...

Солдаты соорудили мне в огромной, как цирк шапито, палатке хирургический стол – необъятный, как зимнее тоскливое поле в играющей обезумевшими звёздами ночи, когда нельзя до дна вдохнуть мороз: обожжёшь лёгкие. И без перерыва, дико, скорбно и умалишённо, всё несли и несли, всё тащили и тащили мне на этот стол раненых. Пока они жили ещё – раненые. Если я их не прооперирую, через минуту они будут трупами. Я это понимал! И руки мои наливались чугуном ярости. И когда я взмахивал руками, обтянутыми резиновыми перчатками, над разъятым операционным полем, они, руки мои, становились лёгкими перьями, облачными крыльями, птицами в приговорённой к казни синеве. И летали. И точно хватали, и жестоко и быстро резали. И шили, шили, шили.

Кройка и шитьё.

Опять полостное ранение, и опять пуля застряла глубоко, в потоках крови, месиве мышц её не так-то просто изловить. На войне ничего не происходит случайно. Особенно смерть. Говорят: вот, он пошёл в бой и его случайно подстрелили! Нет. Ему всё было назначено. Война – слишком многозубый гребень, а коса Времени слишком густа. Мы издаём крик, когда гибнем. Я слышал эти последние крики. Я видел, как на моём рабочем громадном столе, под моим узким зрячим скальпелем, мечется человек, предсмертно хрипит, прерывисто вздыхает, охваченный страхом, тоскою, ужасом. Это ужас перед вечностью. Вечность совсем не высока, она не подобна небу. Она страшна и уродлива. Ибо для многих она – пустота. Под моей рукой, во вскрытой грудной клетке, билось и дрожало чужое сердце. Разрезана брюшная полость, сломаны рёбра, надо делать прямой массаж сердца, иначе оно остановится от болевого шока. Может, сделать укол камфоры прямо в сердечную мышцу? Я твердил себе: мышца, мышца, это всего лишь кровавая мышца, – я приказывал подать мне один препарат,

другой, солдаты толклись рядом серой призрачной мошкаррой, и каждый из них был человек, и они смотрели на распяленного на деревянном столе человека, и гадали, выживет или не выживет. А сам раненый с ужасом глядел на меня. На скальпель в моей занесённой над ним руке. Поворачивал голову. Оглядывал стол, резиновые трубки, хирургические железяки, верёвки, коими был к столу крепко привязан, чтобы вдруг не дёрнулся от жуткой боли, не свалился наземь. В мечущихся туда-сюда его глазах я читал: вы не врач! Вы сатана! Вы стоите у входа в Ад! Вы меня не спасёте, а прямо в горловину смерти введёте! И бросите там! Навек! Навсегда! Дигоксин, кричал я, быстро мне дигоксин! Солдат, что мне ассистировал, в миру учился на врача и разбирался в названиях лекарств. Он набирал снадобье в шприц и протягивал мне, не глядя на меня, а глядя на раненого. На умирающего.

Белый халат. Белая маска. Я не должен дышать на больного. Иначе я могу его заразить; а вдруг у меня грипп? Раненый начинал мотать головой из стороны в сторону. Будто гневно, полоумно отрицал нечто, отвергал. Таким движением можно вызвать у себя сильнейшее головокружение, опьяниться, забыться, потерять разум. Резиновые перчатки обтягивали мои руки, будто их окунули в клей, и они высохли, и пальцы слиплись, надо их растопырить, две пятерни. Я поднимал обе резиновые руки над красным ковром пульсирующих внутренностей. И нечем, нечем мне было больного усыпить. На время? Навеки?

– Тебе холодно?.. ты согреться хочешь... согреться... Ребята, закутайте ему ноги... ну хоть чем... хоть курткой, хоть портками...

Я работал. Солдат, что в иной жизни учился на врача, зажимал кровеносные сосуды, чтобы операционное поле не заливалось кровью. Кровь, священная жидкость. Китайцы учили о священных жидкостях в теле человека: кровь, лимфа, сперма, слюна. Другой солдат заматывал ноги раненого в его же, насквозь пропитанные и заляпанные кровью, камуфляжные штаны. Но, и это было ужаснее всего, я понимал, я сердцем читал это в его всё тише бьющемся сердце: всё напрасно, не жилец.

Мотор жизни. Как он хорошо, жестоко работает. Неостановимо. И вот останавливается. Всего лишь миг! Я, хирург, разымаю острым тонким ножом чужое тело на части. Потом эти части сшиваю. Разве сердце страдает? Разве болит и плачет душа? Плачут глаза, болит тело. Сердце испытывает тоску... разве это не обман? Самого себя и других? Тоскует наша мысль, не находя выхода, утратив радость существования. А сердце, вот оно: мешок с кровью, и бьётся ритмично, сдвоенно, систола-диастола, и больше ничего.

Не уходи! Парень, не исчезай! Куда ты!

Я всадил иглу прямо в этот плывущий в крови живой корабль, в этот треугольный, залитый красной болью кисет, лекарство медленно уходило из шприца вглубь чужой плоти, плоть пила последний напиток, последнюю надежду, а я надеяться уже перестал. Не зверь, а человек умирает! Но ведь зверь умирает так же! Ему больно! Ему томно! Страшно! Тоскливо! Какой ужас: больной не теряет сознания, стоп, подожди, ещё не началась агония, ох, какая уж тут, к лешему, агония, сейчас всё произойдёт, очень быстро, быстро и просто, не успеешь оглянуться!

Сердце, сосуды, артерии и вены, мышцы, мускулы, кости, я всё для вас сделал, всё сделал, всё...

Ещё есть рефлекс. На прикосновение. На укус иглы. Есть ещё. Есть.

Всё медленнее. Всё тише. Всё безысходней. Всё нежнее.

Я положил скальпель рядом с ним. Около его головы. Живой маятник замедлял ход. Мне почудилось: его череп медный. Послышалось: кость звенит, ударяясь о пахнущий гарью воздух.

...это как море, безумный столетний прибой, что мерно и бесконечно накатывается на берег, его неслышно целуя, и опять отхлынет, туда, далеко, к рыбам и подводным гадам, и опять подбирается вкрадчиво, смятенно, играя, полыхая всеми карминными, мандаринными, изумрудными глубинами, а может, всей топью, грязной и заразной, ужасом всех саргассовых змеиных сплетений, беспросветной тьмой всех болот, придонными тучами взметённого осьминогом ила, я никогда не видел моря, но я его сердцем увидал, когда под моими резиновыми руками вспыхивало и гасло солёное, облитое кровью сердце, святою кровью, бедной, нищею кровью, я держал его, я прижимал к нему ладони, под ладонью оно дёргалось, бессловесно крича мне: ещё!.. ещё!.. ещё немного!.. и уже не кричало, а хрипело, уже не вопило мне, а никло, таяло и тихо плакало, сердце, во вскрытой грудной клетке, тоже умело плакать, красные капли стекали по судорожному тикку слепой мышцы, по дрожащей сердечной щеке, деточка моя, я ощущал, сам колыхаясь, шатаясь на палубе корабля смерти, как ползут у меня по лицу – у меня! – густые, тяжёлые, жгучие, крупные, пьяно-солёные капли, и я слизывал

их, глотал, а море смерти всё надвигалось, волна смерти всё поднималась и никак не могла обрушиться, а больной всё тщательнее скрывал свою близкую смерть, всё горячее притворялся живым, прикидывался бессмертным, и я уже почти поверил, я отнял холодные точные руки от плывущего вдаль пьяного сердца, а слёзы всё текли по нему, вниз, во тьму, и по моим щекам, под белой маской, тоже текли красные слёзы. Девочка моя! Как плохо плакать кровью! Кровь прорезает у тебя на щеках несмыаемые морщины. Ты, молодой, желторотый, враз становишься старым. Душа твоя на глазах твоих дряхлеет. Окостеневаёт. Застывает.

Душенька...

Он волновался, переходя во тьму. Я это видел. Сердцем. Он терял регуляцию мышечной деятельности. Из-за страха: страх медленно накрывал его чёрной нефтяной простыней. Я стал путать чёрный и белый цвет. Чёрный халат. Чёрная маска. Чёрный скальпель, положенный мною рядом с медным виском. Медным лбом. Медными волосами. Почему он весь медный? Зачем он застыл в холоде древнего сплава? И уже папиной, паутиной зеленью затянуты тяжёлые веки. Резко, вызовом торчащая, исцарапанная скула.

– Не волнуйся, всё случится как надо.

Я вышептал это, себя не помня. Зачем я сломал ему рёбра? Зачем добывал из недр его памяти и боли сердце, такое живое? Невозможно остановить смерть. Она придёт ко всем. Война щедро дарит её, раздаёт направо и налево; и стараться не надо отыскать её секрет.

Рядом, в палатке, за тонким слоем бесполезного брезента, кричали люди. Мои больные. У одного была флегмона тазобедренного сустава, у другого ранение лица, и рана загноилась, как я ни лил щедрой бестрепетной рукою спирт. У третьего... четвёртого... пятого... шестого...

У них у всех был один диагноз: СМЕРТЬ, и я не понимал, как можно этот приговор повернуть вспять.

Время же нельзя повернуть вспять. Время есть время.

Смерть есть смерть.

Может быть, это одно и то же, думал я.

Я опять положил руки ему на сердце. Всё тише, спокойнее билось оно. И моё тоже успокаивалось. Это было странно, но наши сердца бились в унисон. Оба утихали одновременно. Вот удары раздавались уже раз в десять секунд. Раз в полминуты. Раз в минуту. Вот прекратились совсем.

Я ждал. Держал чужое сердце в мёртвых руках. Главное, не зарыдать, я не любил плачущих мужчин, тем паче плачущих над телом больного хирургов. Хирурги пламенны, они не плачут. А что они делают, если под их руками, на столе спасения, умирает больной?

... всё сердце оплетено волокнами, красными водорослями, оно лежит будто бутылка вкусного вина в плетёной из краснотала корзине, блуждающий нерв то будит ужас и страсть, то усыпляет холодную бдительность, нервная система работает как часы, чувства обнимают одинокого человека, и вот он уже не одинок, но кто-то чёрный там, за камнем, за угрюмой скалой, берёт бульжник и заносит над стеклянным циферблатом, и ударяет, и разбивает в алмазные осколки, в брызги, в кровь, в прах. Всё. Нет больше отлаженных часов. Нет нервов, сосудов и сухожилий. Есть красная каша из живого и мёртвого. Рвутся ростки. Развязываются водорослевые узлы. Распадаются в пыль волокна, нити, верёвки. Нет ничего. Нет.

Уже нет. Или ещё нет?

...БЫЛО В СЕРДЦЕ МОЁМ, КАК БЫ ГОРЯЩИЙ ОГОНЬ.

Откуда ударили мне в грудь эти слова? Зачем я их услышал? Чья-то жалобная рука тихо коснулась моего онемевшего локтя, и голос рядом мрачно промолвил:

– Доктор, не стойте так, не держите его больше, всё, амба.

Я оторвал неподъёмные руки от иного тела. Оно было и вправду иное. Не просто чужое, но чуждое. Принадлежность Иного Мира. Человек лежал передо мной, вытянулся, молчал. Спал. Может, он широко распахнутыми, белыми от пережитого ужаса глазами видел меня? Он глядел на меня. Я протянул руку и рукою в окровавленной перчатке закрыл ему глаза. Кровь испятнала его лицо, в полевом лазарете уже заросшее щетиной.

– Я не хотел... прости...

Я вслепую цапнул с маленького стола, что бойцы соорудили из пустых ящиков, многослойную марлю и нежно, осторожно протёр ему заляпанное его же кровью, чистое от дыхания смерти лицо. Вот он воевал, и он умер. И я держал в руках его сердце.

Сердце человека.

Я понял: тайна кроется в самом биении сердца. В утраченном. В том, что ты потерял.

Оно и есть самое дорогое.

Живёт ли эта тайна вечно, об этом надлежало узнать.

Нет. Зачем распахивать тайну скальпелем знания.

В это надлежало ПОВЕРИТЬ.

Я отошёл от хирургического стола. Тот, кто учился в жизни иной на врача, стащил с моих вытянутых рук перчатки. Я сказал ему спасибо. Люди вокруг молчали. Я не чувствовал, что я на войне. Может, там, в близком поле, опять грохотали взрывы и свистели пули. Я не слышал. Под моими голыми руками всё так же билось, кричало чужое сердце, и оно было моё, и оно было – я.

Ночь тоже билась над нами, замершими в спальнях мешках в палатках, всеми своими звёздами. Я не спал. В открытые глаза текла тьма. Я встал, надел тёплую куртку и вышел вон. Сам себе казался медведем, что выполз из берлоги посреди зимы. Ветер крутил прозрачную позёмку. Иней расписал узорами впадины и трещины земли. Звёзды мёрзли, дрожали над полем и бессильно падали в воронки от снарядов. Я стоял без мыслей, без чувств. Лучшее, что я мог сделать на войне, это перестать мыслить и чувствовать. Если буду мыслить и страдать, не смогу оперировать. Лучше так. Свободно. Спокойно. Над полем. Стоять, как лететь.

Я глядел в Мирь, убитый войной. Вдруг с неба стал сочиться тихий свет. До рассвета ещё далеко. Взрыв? Пожар? Оружейные склады горят. Или бомбят ближний город? А мы тут, в поле, спим.

Свет разгорался и приближался. Он был плотным, хоть и бестелесным, нежно мерцал и снова затихал, становился ровным: струением позолоты, льющим молоком. Он всё сильнее, а я всё растерянней. Я испытал страх, но не тот страх, когда в тебя летит бомба, пуля. Другой. Когда я почувствовал исходящий от света жар, меня будто кто невидимый в спину толкнул. И я повалился на колени.

Перед светом.

Деточка, ты вставала когда-нибудь на колени? Да? Тогда ты знаешь это чувство. Ты молчишь, а изнутри тебя поднимается голос. Он твой, и вроде бы не твой. Извне. Он звучит в тебе всё громче. Ты радуешься ему, и ты ужасаешься его. Голос звучал и во мне. Зимнее поле со всех сторон охватывало меня молчанием. Небо обнимало меня вечным молчанием, и оно ужасало меня. Я глядел вверх, и звёзды меркли, ибо свет разгорался. Волосы на голове моей поднялись. Голос звучал теперь не только внутри меня, но и рядом, поблизости, и кругом, и везде, и вот он поплыл на меня с небес. Голос стал всем сущим: полем вокруг, моим прошлым, моим вчера, моим пугающим, в облаках танцующим завтра, жизнями людей, сверкающими инструментами, коими я дирижировал чужой болью и счастьем, возрождая или убивая. И я смирился перед ним, и я склонил голову перед ним. И я запомнил всё, что он говорил мне.

И голос говорил.

И я слушал.

И по мере того, как я слышал и слушал его, я стал молча ему отвечать.

Мы говорили.

ЗАЧЕМ ТЫ НЕ ВЕРУЕШЬ В МЕНЯ? СМЕЁШЬСЯ НАДО МНОЙ?

Я не смеюсь над тобой. Я не знаю, кто ты.

ТЫ ВСЁ ЗНАЕШЬ, КТО Я.

Не ведаю. Прости меня.

Я ТОТ, КТО ПОД ТВОИМИ РУКАМИ УМЕР СЕГОДНЯ. Я ЕГО ДУША. Я ЕГО СЕРДЦЕ.

Быть не может. Человек умирает навсегда. И не становится светом. Его в землю кладут и землёй засыпают.

Я ЕСМЬ ВСЕ ЛЮДИ.

Не может быть. Каждый человек отделен. Каждый человек это Мирь.

Я ЕСМЬ ЗЕМЛЯ, ВОДА, КАМНИ И ВОЗДУХ.

Ты свет, я это сейчас вижу. Ты не камень и не земля. Эта земля полита кровью. Мы ложимся в неё, убитые.

Я ЕСМЬ ОГОНЬ И НЕБО.

Ты льёшься с неба, я вижу. Свет и огонь, они братья.

Я ЕСМЬ ВСЕЛЕННАЯ.

Не верю. Ты просто свет.

Я ЕСМЬ ПРОСТРАНСТВО.

Что такое пространство?

Я ЕСМЬ ВРЕМЯ.

Как тебя исчислить? Запомнить?

Я ЕСМЬ ТВОЯ КРОВЬ. ОНА ПОМНИТ ВСЁ.

Кровь вытечет, если перерезать жилы.

Я ЕСМЬ ТВОЙ ГОСПОДЬ.

При этом звучании небесного рассветного голоса я сотрясся, будто был спокойно спящей землёй, и меня рассёк надвое сильнейший подземный удар.

Господь, Господь! Но ведь Тебя выдумали люди, чтобы им спать спокойно! И на земле, и под землёй! Ты творение людей! Люди строят Тебе храмы, малюют Твои иконы, шепчут Тебе молитвы, но никто и никогда не видел Тебя!

МЕНЯ ВИДЕЛО МНОГО ЛЮДЕЙ ОТ СОТВОРЕНИЯ МИРА. НО МНОГИЕ СЧАСТЛИВЦЫ НЕ ВИДЕЛИ, И УВЕРОВАЛИ В МЕНЯ.

Я не верую! Прости!

ВЕРУЙ И МОЛИСЬ.

Не могу!

ПЕРЕСТУПИ ЧЕРЕЗ НЕМОЩЬ.

Не умею!

БУДЬ СИЛЬНЫМ.

Я слаб!

ИДИ ВПЕРЁД.

Я иду! Но ведь я на самом деле стою на месте! Это Время обтекает меня, движется мимо меня! Я несчастный одинокий остров! Лишь птицы живут на его берегах! А люди приплывают и уплывают, приходят и уходят!

ВОЗЬМИ МЕНЯ ЗА РУКУ.

Боюсь!

НЕ БОЙСЯ. НИКОГДА НИЧЕГО НЕ БОЙСЯ. СО МНОЮ ТЫ СИЛЁН.

Как это может быть?!

СО МНОЮ ТЫ БЕССМЕРТЕН.

Это несбыточно! Смерть – есть! Она есть всегда! Она есть и для Тебя!

ОНА ЧАСТЬ МЕНЯ. ЛЮБИ МЕНЯ. МОЛИСЬ МНЕ. УВИДИШЬ, ЧТО БУДЕТ.

Мой голос оборвался во мне сухой заиндевевой травой. Я всё ещё стоял на коленях, и колени мои прожигал смертельный холод, он поднимался из глубины земли, из недр войны и мороза. Колени примерзали к бугристой почве. Камни больно в них врезались. Я стоял и понимал наказанных детей, коих ставят за провинность в угол на горох. Мне чудилось, из моих коленей течёт кровь и питает нищую землю. Я всё ещё задираю голову к небу, а свет уже начал таять, разыматься на тонкие лучи, на сонные сполохи, на мигающие створы. Вот от него, громадного, на полнеба, остался среди звёзд один лишь пылающий тусклый фонарь. Керосиновая лампа. Свеча. Лучина. Тлеющая в остывлой печи головня. Но и она погасла.

Умерла.

Кто со мной говорил? Неужели Господь Бог? Значит, всё не выдумки? Значит, напрасно одни наглые, жестокие люди смеются, а другие, нежные и покорные, верно соблюдают посты и обряды, длинной лентой движутся в сияющем храме к Причастию? Я вспомнил молитвы, какие знал. Чест-

нейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим... Отче наш... Богородице Дево, радуйся... Да воскреснет Бог и расточатся врази Его... Рот бормотал начальные слова молитв; нет, не они нужны мне сейчас, мне нужен я сам. Спеть Господу мою песню. А разве у тебя, жалкий грешник, человеке, кромсающий особым ножом живые тела, спасая либо губя, разве у тебя есть за пазухой песня?

Я впервые в жизни молился. Не молитвой из Молитвослова, что смиренно лежал у покойного отца между иными книгами. Я молился сам, как мог, и молитва моя была странной, дикой и прекрасной. И не было ей конца.

...Господи, сделай так, чтобы я мог всю мою жизнь оперировать людей. Лечить. Лечить людей – это высшее благо. А ещё дай мне, прошу, особый дар. Только не смейся надо мной, Господи. Я хочу видеть Время. Провидеть его. Глядеть в его солёное колыханье и зреть, что там, в синеве, в клубящейся тьме, на самом дне. Где камни, водоросли, мох, искры мальков, живые бинты миног и угрей, глубоководные чудища. Люди не ведают Времени. Потому что они его не любят! Время слишком страшно. Оно то размыается, то смыкается. Говорят, в чужестранных морях, на большой глубине, ютится меж камней огромный моллюск, и, если нога или рука бедного ныряльщика попадёт между его открытых створок, они жадно захлопнутся: чудовище поймает еду, а пловец закричит истошно, да крика под водой никто не услышит, и, пока он будет, теряя мысли от боли, подниматься на поверхность воды, за ним потянется красная мантия крови. Она тут же растает в изумрудной толще огненным призраком. А человек вынырнет, солнце ударит его в лицо, но он всё равно умрёт. Умрёт от болевого шока либо от потери крови. Я знаю.

...нет. Он умрёт потому, что пришёл его срок.

И Господь его взял к Себе.

...Господи, а ещё сделай так, чтобы я по-новому ощутил жизнь и смерть. Я молод, но я уже так устал! Я хочу понять смерть. Иначе, чем вчера. Я её боялся. Она была мне противна. Я с ней смирялся. Я от неё отворачивался. Я относился к ней холодно и спокойно, старался её не замечать, хотя и принимать к сведению. «Доктор! Доктор! Сегодня в третьей палате умерла больная, от перитонита, гной откачали, но не предотвратили сепсис, заражение крови, высокая температура, несовместимая с жизнью. Экзитус леталис». Летать, улетать! Латынь тут ни при чём. Я иногда даже улыбался, когда медицинская сестра давала мне отчёт о жизнях и смертях в моём лазарете. Никто не спрашивал, почему я улыбаюсь, не говорил, что это невежливо или глупо. Мало ли что человек вспомнил, слушая речь о том, как другие умерли. Другие! Но не я. Не я! Не я! Я не умру!

Господи, да ведь и я умру. И все мы умрём; в особенности бойцы, здесь, на войне. Я среди солдат сам солдат. Я воюю со смертью. Каждый день, а то и ночью. Операционное поле освещают походными лампами. Иногда свечой. Живой огонь тоже позволяет увидеть детали внутренностей. Определить, что там, внутри у жизни, – флегмона, карбункул, остеомиелит, свищ. Господи! Дай мне обнять смерть. Сделай её моей подругой!

И главное, Господи, дай мне узнать, что же такое душа. Что такое дух! И, озарённое ими, бес-телесными, изнутри навек, на всё посмертие, что же такое тело! Что есть наше тело, хилое, слабое, дрожащее, крепкое, богатырское, всё перекачивается играющими мышцами, никнет увялым стеблем, тело зверское, тело хищное, тело просящее, тело молящее, тело беспомощное, тело помогающее, тело плывущее, тело застылое, тело обнимающее, тело убивающее! Всё, что делается на земле, делают тела! Перемещаются в пространстве, сетуют на Время! Бормочут живым ртом то хвалы, то обиды! Сжимают в живых руках вечную любовь, а завтра с нею простятся навсегда! Хочу понять, что же тело такое! Почему я его оперирую, холодно прищурясь, а огонь горит во мне, внутри, горит там, где у меня сердце, под рёбрами, и, если я ошибусь, если плохой разрез сделаю, бесстрашно не выну червеобразный отросток ужаса, боли, тьмы, не выдеру вон из распластанного на столе человека, огонь во мне погаснет и сам я почую смерть. И это я нынче умру. Отойдя от стола, будто палач от эшафота. И это я нынче не воскресну. Господи! Дай мне понять, что такое душа, и, может, это она во мне на всех моих операциях горит!

Дух, а что есть дух, Господи?! Не Ты ли сам и есть наш дух? Всеобщий дух, всесветный! Всемирный! Необъятный! Да мы и не стремимся Тебя обнять. Я понял: перед Тобой склониться надо! Вот так, так стоять на коленях, и это не стыдно, это не смешно, это не мучительно, а радостно, счастливо, так упоённо впервые мне молиться Тебе, что я теряю от Твоего небесного праздника

разум! Да разум мне и не нужен. Он мне нужен, чтобы наблюдать сочленения костей и перевивания кровеносных сосудов! А так – никакого не хочу разума! Зачем мне оно! Сопоставлять? Решать? Загадывать? Разрезать плоть жизни вдоль и поперёк? Да, я есмь хирург! Я острый, опасный скальпель! Я режу, кромсаю направо и налево! Я страшен. Для врагов. Ибо я вооружён. Смерть – враг? Да первый враг! Самый главный! Человек только и делает, что борется со смертью! И всё равно умирает.

Господи, дай мне храбрость и спокойствие глядеть прямо в безносый череп смерти! Не убоюсь её. Приму её. Только пока я жив и топчу землю, не дай мне умереть: при жизни.

Девочка моя, я не думал не гадал, что на войне встречу того, кого буду любить, кому буду поклоняться, с кем буду сражаться не на жизнь, а на смерть, от кого буду терпеть побои и унижения, кому буду поверять все сокровенные чувства, с кем вместе буду раздумывать над нашей общей судьбой и вместе идти вперёд. Этот человек был, как и я, хирург.

Почему был? Может, он жив. Не знаю. А может, война сжевала его, кусок хлебной плоти.

Война нас всех сжует. Не пожалеет.

Работа у неё такая.

НИКОЛАЙ

Хирург. Безжалостный? Да. А зачем жалость, если речь идёт о жизни. Две у тебя ноги или одна – а какая разница, если ты умрёшь. Я не просто оперирую: я предотвращаю. Тело – жратва для микробов. Один мой друг сказал: жизнь на земле убьют мельчайшие существа. Невидимые. Они выживут в любой войне и радостно размножатся там, где всё живое окоцурится. Меня послали на войну, и я поехал. Я выполнил приказ. Хирургия моя проста, как лапоть. Не дать развиваться инфекции. Это значит, вырезать из тела все больные ткани и не бояться отхватить даже кусок здорового мяса. Все тела прошиты осколками, какая уж тут жизнь! Назавтра разовьётся флегмона, а то и гангрена. И пиши пропало. Труп. Я работаю так: делаю широкий разрез, рассекаю рану. Оставляю её открытой. Шить нельзя. Иначе бактерии сожрут больного изнутри.

Многообразны военные травмы. Несть им числа. Я устал. Честно, я очень устал. У меня в глазах рябит от вида окровавленных тел, рваных ран, разрезов, зажимов. Особенно страшны раны живота. Я вспоминаю: от пули в живот, пущенной в него на дуэли, умер наш великий поэт. А тут не великие поэты, а простые солдатики мрут как мухи, от полостных ранений. Если тебя ранили в живот, нужно побыстрее на стол. Пройдёт время, и будет поздно. Ты умрёшь. Как и не было тебя на свете.

Череп, это очень сложно. Я никогда не делал трепанацию черепа. Неужели здесь придётся? Не могу взять в толк, как надо разымать кости черепа. Целая наука. Я запасся книжками. Найду, прочитаю. И всё буду делать по книжке, ха-ха. Может, получится. Но не верю. Скорей всего, мой первый череп умрёт прямо на столе. И я сам закрою ему глаза.

А ведь есть ещё грудь, руки-ноги, челюсти, глаза. Глаза! Я не офтальмолог. Я не смогу. Это другого сорта хирургия. Нужны лупы, зеркала, яркий свет, особые инструменты. У меня тут их нет. Значит, остаётся одно: лишать бойца глаза. Ну и что, кривой-косой, женилка цела, девки всё равно полюбят.

Я впервые видел всё страшное: взрывы, бомбёжку, как земля чёрным веером вверх летит, раненых видел впервые. Кого на носилках тащат, кого под мышки да под коленки волокут. Брякают на стол. Товарищ военврач, срочно! Помирает! Я гляжу. Диагноз выкрикиваю. Мелкоосколочные в грудь, крупный осколок в брюшной полости, череп пробит! Соображаю: ранения, несовместимые с жизнью. Сейчас мужик умрёт. Прямо на моих руках. А люди надеются. Встали рядком вокруг меня и глядят на меня. Пристально глядят. А я ничего не могу сделать.

Начинаю делать. Делать нечего. Надо делать.

Человек на свете делает дело. Иного не дано.

На том свете делать он уже ничего не сможет. Того света просто нет.

Больно! Больно! Кто это кричит? Мой больной? Да, вон на той койке, у окна. Лазарет расположил-ся в пробитом снарядами домишке около мутной речонки, она течёт в никуда. Я подхожу. Больно? Потерпи, друг. Больно будет недолго. Он умолкает. Помру, доктор, что ли? Криво усмехаюсь. Кто тебе это сказал? Бормочет: я сам знаю. Я ему, зло: ну, так если сам знаешь, лежи да не ори. Не терзай других раненых.

Осколочных ранений тьма-тьмушая. То и дело осколки в ведро выбрасываю, они звенят. Спать лягу – этот звон у меня в ушах. Кого оперирую под местной анестезией, новокаин вкачу, они лежат, зубами скрипят, иной раз я им между зубов щепку вставляю, чтобы вгрызлись крепче и не орали. Терпят. А кому даю общий наркоз. Мне ещё в городе присоветовали, в госпитале: ты там раненых щади. Они и так в бою побывали. Смертушку в рожу видали. Жалей их. А тебе что, эфира жалко?

Эфир. Нежное название. Ночной зефир струит эфир. Да, помню. Ещё со школы.

– Не охай! Не стони! Оперировать буду.

– Когда, доктор?

– Да сейчас. Время не терпит.

– А больно будет?

Все боли бояться.

Пока живы – все бояться боли.

– Нет. Не будет. Ничего не почувствуешь. Уснёшь просто, и всё.

– Как это усну? Я спать не хочу!

– Мы тебя усыпим.

– Усыпите? Гипноз, что ли? Или выпить дадите? Так я ещё хуже разбушуюсь!

– Маску наденем на морду, особую, польём особым лекарством. Только дыши глубже. И ничего не бойся.

Они все всё равно бояться. Я сам боюсь. Сколько бы операций ни делал.

На лице солдата маска Эсмарха, он в ней дик и страшен, как марсианин. Сестра подносит эфир. Время, проходит время. Ждём. Солдат сначала бормочет невнятно, потом вопит душераздирающе, потом утихает. Ждём ещё. Хрипит. Спит. Спит? Да вроде бы. Всякое бывало. Спит-спит, я оперирую, и вдруг больной как взовётся! Голубем белым, и вот-вот в небеса со стола взмоет. Ну, начнём! Скальпель. Острый. Будто железную молнию в тело всаживаю. Сам себе Богом кажусь. Ну, глупости. Никакого Бога нет. Всё это сказки, про богов. Люди сами себе утешение в скорбях выдумали. Чтобы сильно не плакать по ночам. А, к примеру, молиться.

Режу. Вынимаю. Сестра умело орудует зажимами. Вынимаю. Бросаю. Режу опять, разрез маленький, надо расширить. Вынимаю. Последний осколок нашёл. Выкинул. Всё. Можно шить. Только бы у больного сердце не остановилось. Мышцы у такого силача под наркозом как тряпки. Спит крепко. Проснётся ли? Может, мы с эфиром переборщили?

– Йод! Где йод! Бинты!

Поливают йодом. Накладывают стерильную марлю и бинты.

Я оставляю сестру рядом со столом. На столе лежит и спит человек. Я его только что спас. Или погубил. Я ещё не знаю. Сестра восторженно, во все глаза, смотрит на меня. Сейчас больной проснётся, и его будет рвать. Рвота, наркоз отходит, обычное дело. Нужна миска. Или там кастрюля. Или таз. Таза нет. Не подумали. Не приготовились.

Солдат медленно поворачивает голову на железяке стола, и его бурно рвёт. Всеми внутренностями. Всей проклятой войной. Всей святой войной.

Я оборачиваюсь в дверях. Сестра вытирает рот солдату марлевой повязкой. Краска на щеках прожигает ей маску.

– Ой, Николай Петрович... простите... мы не подумали... не подготовились...

Я ухожу. Я не могу говорить. Я онемел. Сил нет.

Я его спас или я его погубил, я не знаю. Ближайшее будущее покажет. Хирургия – это не наука. Это искусство. Намалюешь картину жизни или нет: наоборот, уродливо зачернишь.

Когда мои первые неудачные солдаты умирали, я плакал, как мальчишка после драки. Я имею дело со смертью, и я не знаю, что такое смерть. Ужо узнаю, когда ко мне придёт. А может, помолиться? Надо научиться.

А может, я эфира нанюхался.

Если мужик умрёт, пойду, налью в мензурку спирта и тяпну. Может, легче станет.

И выкурю папиросу. У меня ещё остались.

Помаленьку с фронтом освоился. Притерпелся. Бомбёжки начинались, я сам командовал: раненых в подвал спустить! Сначала раненых, потом сами прячьтесь! Мы на себе их волокли, тяжёлых.

Лежащих – на носилках и простынях, как в белых гамаках. И к этому привык. Человек ко всему привыкает. Дверь на крыльцо открыта. Самолёты пикируют. Слышен вой. Бомбят! Мы пригнулись, тащим раненых, спускаемся в подвал по шерботой лестнице. Зенитки лупят. Самолёты воют. Ужас войны. И к этому я привык. Все мы привыкли. И это страшно.

– Всех спустили?

– Всех, Николай Петрович!

Сидим подле раненых. Слышно, как падают бомбы. Грохот. Голос больного:

– Дальше полетят? Улетели?

Страшно хочу закурить. Нельзя.

– На город полетели.

– Бедные жители.

– А мы не бедные, лазаретные.

Вдруг дикий крик там, высоко, наверху, над лестницей.

– А-а-а-а! А-а-а-а!

Крик мальчишеский, звонкий, взхлёб.

Я поднимаюсь по лестнице. На крыльце стоит мальчонка, весь перепачканный землёй и кровью.

– Ты ранен?

Ощупываю его. Трясёт башкой.

– Никак нет... нет, товарищ доктор! Цел я! Там два грузовика с бойцами разбомбили! Раненых бойцов к вам в госпиталь везли! К вам! Кого в лепёшку, кто жив ещё! Спасите их! Спасите!

Опять орёт и ревёт белугой.

Я крепко прижимаю его головёнку к своему животу.

– Эй, хватит вопить. Ты же мужик. Ну! Ты же мужик!

Орать перестает. Смотрит на меня. Глаза светлые, небесные.

– Мужик...

– Сейчас они улетят. У нас есть машина. Туда скатаем и заберём, кого сможем.

– Ух... спасибо...

– Погоди благодарить. Надо дело сделать.

Я отряжаю на спасение раненых госпитальную машинёшку. Люди выползают из подвала, тянут больных наверх, в палаты. Сам трясусь в машинёшке туда, к месту ужаса. Со мной едет санитар. Прибываем. Трупы и живые валяются на земле вперемешку. Кто стонет, кто кричит, кто молчит, кто умолк навек. Я хожу меж раненых и проверяю, кто жив, а кто нет. Щупаю артерию на шее, за ухом. Мертвецам закрываю глаза. Их надо похоронить. А то глаза вороны выклюют. А тела начнут истлевать и гнить, и зараза потечёт по земле, по весенним ручьям, и достигнет других жизней, и отравит их.

А разве только поэтому их надо похоронить? А может, ещё почему-то надо?

Санитар, шофёр и я, мы подхватываем живых и несём в машину. Места мало. На заднее сиденье мы можем уложить двоих, от силы троих. Придётся сделать много рейсов. Народу тут изрядно. Убито почти половина. Человек пятнадцать живых. Пятнадцать жизней, разве это мало? На войне привыкаешь считать народ поголовно, как скот. Рота, взвод, батальон. Численность! Количество! Госпиталь – та же картина. Я всё время считаю больных. И выбывших из строя, сиречь мёртвых, в военно-полевой ведомости отмечаю.

Кто-нибудь и меня когда-нибудь в какой-нибудь ведомости отметит.

Дескать, жил-поживал такой-то и из жизни выбыл. Обычное дело на войне.

И в мире обычное.

Всё всегда и везде обычно. Ничего нового нет. Ни под солнцем, как это говорится, ни под луной. Ни под ножом, ни под ружьём. Я ловил себя на мысли: неважно, как ты умрёшь. Важно, что это нельзя отодвинуть.

Если я это пишу, значит, я живой. И всё по-настоящему. А чем мир настоящий отличается от мира выдуманного? Да ничем. Кто поручится, что всё, записанное боролатыми летописцами, правда? Что всё в газетах – правда? Что всё в романах, стихах и тому подобных увеселениях – правда? Правды нет. Есть только сия минута. Ты в ней, внутри неё. Проживаешь её. Но даже ты не знаешь, окружает тебя правда или ложь. Ты не хочешь лжи. Ты сопротивляешься! Бьёшься! Ты не веришь в войну: снаряды

вдвуются не рядом со мной, люди падают в грязь под огнём не здесь, вокруг меня, а во сне! В моём сне! Мне всё снится! Я сплю! Сейчас проснусь!

Глупое желание. Все глупые желания несбыточны. Даже из страшного сна никто не вылезает. Там и остаётся. И сходит с ума.

Бедняге кажется, что с ним всё хорошо. А все видят: сумасшедший. Кто жалеет. Кто лечит, иногда насильно. Кто прогоняет прочь. Кто на что способен. Мне сказали, есть такая порода людей, юродивые, они при монастырях обитают. Богу молятся за нас, грешных. Будто юродивый этот не грешен. Ещё как грешен! Смотря что считать грехом. Я никогда не бывал в церквях, их только издали наблюдал. Так, цапну глазом и дальше побегу. Некогда. Надо в госпиталь успеть, три операции назначено, надо в академию, надо на склад, вату-марлю заказали, с машиной договориться. Надо то, надо сё. Какая церковь, о чём вы, люди. Церковь и без меня проживёт, а вот больные без меня не проживут. Помрут.

Эх, юродивые монастырские, мне бы ваши заботы. Вас там накормят, напоят, ну вы и беситесь от души. Наземь валитесь, кричите-блажите, руками-ногами дёргаете и, по слухам, что-то там такое пророчите. Ну валяйте, пророчьте. Пророчество – это штука наподобие стихов, так думаю. Тронутый человек сочиняет, выкрикивает, что в башку взбредёт. На ходу подмётки рвёт.

Всё. Стоп. Хватит об этих безумцах. Настоящее – это настоящее, и точка. Нет никакого прошлого, мы не знаем его, мы забыли его. Нет никакого будущего, мы не знаем его. Есть только сегодня. И мы все: здесь и нынче. Всё так просто. Не накручивайте небылиц сами себе. Жизнь дорога. Её надо спасать. И спасаю! Это моя работа.

Я жив. Я чудом остался жив. А внутри смерти побывал. Такая чепуха со мной приключилась. И теперь я, как дурак, всё думаю об этом человеке. Он спас меня. А я его убивал. Чуть не убил. Проклятье! Вспомнить не могу. А вспомнить надо. И записать. Написано пером, не вырубил топором. Правда, можно сжечь. Запросто! Печь, костёр, таз, бумагу в клочки порвать, зажигалку поднести. Огонь взвьётся. Вот тебе и вся исповедь твоя. Ни исповеди, ни тебя. Где же здесь бессмертие?

Расскажу о прошлом, да оно так близко, что тебе настоящее, оно было вчера, ещё свеженькое, ещё болит, свежая рыба, только выловили, бьёт хвостом, это моя мысль бьёт мне в череп. Просит выхода. Надо нацарапать эти закорючки. Эй вы, будущие! Если вы будете. Прочитайте, а!

Я покинул госпиталь и вышел на берег неширокой речонки, покурить. А точнее, побыть один. Побывать одному на войне не удаётся. Ты всё время среди людей. Стою, смолчу, и тут на меня из-за кустов – прыг! Руки за спину, связали, по земле ногами волокут. Речь вражеская. Гады! Я понимаю: меня схватили, потащили, не шлёпнули, значит, допрашивать будут. Форма на мне офицерская. Я вырываюсь. Мне по голове тяжёлым стукнули, я отключился. Очнулся в полутьме. Керосиновая лампа. Пламя бьётся, краснеет, гаснет, опять разгорается. Глаза привыкли к темноте. Вижу: штаб. На стенах плакаты с чёрными пауками. Лают по-ихнему, аж захлёбываются. Меня под мышки, поставили перед офицером, за столом сидит, морда шире варежки, три подбородка, зуб золотой. Скалитесь. Гав-гав-гав-гав! Я немного знаю их собачий язык. Перевёл сам себе. Спроси, где, в каком селе спрятаны наши зенитки и где стоят наши части! Это он толмачу бросил. Тщедушный богомол, скрюченный стручок, пролаял по-русски: отвечай, какой деревень сенил орудия и ктэ эст руссише зольдатен! Я усмехнулся. Страху смерти не наблюдал в себе никакого. Ни малейшего. Держи карман шире, толсторылый офицерчик! Буду молчать до последнего. Хоть замучь! Запытай!

И ведь запытали.

Не меня одного: нас вдвоём.

В керосиновом мраке я не рассмотрел сперва, что на топчане, у срубовой стены, лежит человек. И на нём, вот диво, белый халат. В грязюке, понятно, в кровянице, понятно, однако белый врачебный халат, по лицу его зрачками шарю, нет, не из нашего госпиталя, в нашем госпитале, кроме меня, хирурга, ещё один доктор и один фельдшер, мы его за доктора держим. Значит, из другого полевого госпиталя. Поблизости. И мы два пленника. Два, как говорится, языка. Н-да, влипли! Молчим как рыбы. Толмач слюной брызгает. Орёт прямо нам в лица: эсли ви не! отвечайль! ми ви! убивать! Гляжу, и неизвестный доктор тоже настроен помереть, но ничего не сказать. Я тихо и отчётливо говорю ему, вроде как не ему, а так, про себя бормочу: эй, ты откуда, товарищ, хоть намекни! Не успел договорить. Меня по губам так кулачиной мазнул толмач, я зуб выплюнул.

Началось. Когда-то должно было начаться.

Живёшь и думаешь: нет, со мной такого никогда не произойдёт. Ан нет, происходит. Ещё как происходит! Человек изначально жесток. Это его природа. Тело, оно так устроено, что испытывает бессознательное наслаждение при виде крови. Поэтому, если в восставшей толпе прольётся кровь, она звереет. Если солдаты расстреляют безвинных людей – люди поднимутся и пойдут убивать. Громить, крушить. А если человека однажды унизили, он жаждет мести. Мечь – это кровь. Человеку недостаточно унижения в ответ. Он хочет, чтобы обидчик испытал страх. А страх – это кровь. Страх – это смерть.

Вы скажете: да это не тело такое! Это мозг такой! Эту ему охота наслаждаться и мстить! Слушайте, а разве мозг не тело? Не часть тела? Всё это человек: живот, палец, брюхо, пятка, глаз, мозг. Почему мозг мыслит, это уже другой вопрос. Не ко мне. К психиатру. Да лучшие психиатры твердят: мы знаем мозг лишь на пять процентов, остальные девяносто пять процентов в тени.

Началось. Не остановить.

Будейт говориль?! Нет. Выстрел в бедро. Ему, другому. Закричал. Кровь полилась на топчан. Капала на пол. Толстяк пальцем на меня показал. Из тьмы выступил ещё один дьявол. Солдатёнок, в гимнастёрке. Поднёс мне к подбородку зажигалку. Пламя прожигало кожу, добиралось до кости. Я скрипел зубами. Я и сам причинял боль, и выносил всяческую боль, если вы думаете, я был сам не резаный, ещё как резаный, вдоль и поперёк, всяко. И гнойный аппендицит, с перитонитом, и сломанная в гололёд рука, хорошо, что левая, лучезапястный сустав, четыре месяца в гипсе, так и оперировал в лангетке. И перелом двух рёбер, в подворотне избили, но я им тоже хорошо накостылял. Ноги мои не были связаны, я взял да пнул от всей души толмача. Он свалился. Толсторылый крикнул отрывисто. Меня повалили на пол, разодрали гимнастёрку на груди. Сапогами на запястья наступили. На ноги мне сел солдатёнок. Придавили. Толстяк выбрался из-за стола, поигрывал финским ножом. Я понял, что меня ждёт. Ну, хирург, сказал я себе, не бойся операции.

Поймал себя на том, что всё равно забоялся.

Резали долго. Со вкусом. И так и эдак. Вырезали на груди фигуры. Знаки, я в зеркало рассмотрел потом раны. Вражеский паук. Наша звезда. Лезвие втыкали глубоко, смачно. Кровь текла медленно, обильно. Я чувствовал её тепло. Временами я даже не чувствовал боли. Я думал: только бы не ткнули нож вглубь, за грудину, и не добрались до артерии. Я боялся потерять сознание. Быть без сознания, ведь это почти умереть. Живи, заклинал я себя, только живи. Держись!

И я держался.

В борьбе с болью я забыл, что рядом, на топчане, лежит неведомый врач, и нога у него прострелена. Я скосил глаза и увидел: он пристально глядит на меня, и глаза его полны влажного ужаса. Лицо всё бородой заросшее. Я-то брился каждое утро. А может, у него бритвы с собой на войне не было.

Меня ударили сапогом под рёбра. Толстяк орал на своём пёсьем языке. Толмач выкрикнул: хотеть шить?! убить он!

И показал пальцем на лежащего на топчане.

Пинками меня подняли с пола. Я не мог стоять. Мне вопили: стоя-а-а-ать! Я широко раздвинул ноги и так качался. Мне в руки всунули винтовку. Толмач заорал: штреля-а-а-айт! И снова указал на чужого военврача. Я соображал мгновенно. Расстояние близкое. Выстрелю, и пуля разнесёт ему всю грудную клетку. Или всю брюшину. Или пройдёт навывлет через лёгкие. Если стрелять в голову, мозг разлетится и заляпает все стены. В голову, наверняка умрёт. В любую часть тела – кто его знает, может, и выживет. Чтобы при тяжёлом ранении выжить, надо оказать раненому немедленную медицинскую помощь.

Врач смотрел на меня круглыми, совиными глазами. Я тщетно искал в них страх. Это я боялся, пока стоял и решал, стрелять не стрелять, а у него страха не было. Солдатёнок по знаку толстяка накинуд мне на шею веревку и стал душить. Лицо налилось кровью, я задыхался. Я видел, как люди умирают от удушья. Много раз видел. Это страшно. И повешенных видел. И кого я только не видел. Жизнь показывала мне страшные рожи страданья. Когда меня задушат, у меня будет синее лицо, а язык вывалится.

Главное, мы ничего не говорили сволочам. Ничего не сказали.

– Штреля-а-а-а-айт!
Я выстрелил.

Прощу ли я себе когда-нибудь это несостоявшееся убийство? Ведь я убивал человека. Своего человека. Родного. Жителя моей Родины. Человека моего народа. Более того, врача, как и я. Значит, собрата. Брата. Пусть я имени его не знал. Но я поднял винтовку и выстрелил в него. Почему? Испугался врага? Забоюлся собственной смерти? Я понимал, что меня всё равно не пощадят: выстрелю я в пленника или не выстрелю, разницы нет, я враг, и меня надлежит убить, часом раньше, часом позже. Зачем я выстрелил? Что мною двигало? Думал ли я тогда о чём? Или выстрелил без чувства, без мысли? Обречённо? Машинально? Исполняя вражеский приказ?

А может, я его, брата моего, от ужаса, от мук одним выстрелом хотел спасти?

Человек – винтик в механизме. Его завили. А механизм расшатался. Разладился. Винтик ослаб и выпал из резьбы. На его месте дырка. Из неё течёт кровь. Течёт, течёт. Не остановить.

Когда я стрелял, я зажмурился. Открыл глаза. Военврач сполз с топчана на пол. Он лежал под моими ногами, халат задрался, я видел латаные на коленях портки. Текла кровь, уже останавливалась, пятно расплывалось по штанам, по халату, из простреленной не мною ноги. Врач поднял руки и зажал ладонями уши. Он оглох. Пух летал по штабу. Я выстрелил и попал в подушку, а целился в голову, чтобы убить наверняка. До сих пор не знаю, рассчитал я это, совершил бессознательно или просто рука дрогнула от неведомого, дикого страха.

Страх пришёл, он пришёл поздно, навалился на меня, загрыз меня.

Страх и стыд.

Я похвалил себя: правильно сделал, что выстрелил в подушку.

Нас потащили по полу из штаба вон, в сарай.

Дух гнилой соломы. Кровь льётся из порезов, медленно сворачивается, подсыхает. Свёртываемость у меня была всегда на высоте. Рабочие тромбоциты.

Мы сбежали. Уползли из сарая. Посреди ночи. Выломали ветхую доску. Под неё подлезли. Ползли. Не знали, куда. Потом чуть окрепли, поднялись на четвереньки, встали на ноги. Ковыляли, опираясь друг на друга.

Друг. На друга.

Слух к врачу возвращался. Враги за нами погоню не отрядили. Скорей всего, они побежали в другую сторону, а множества людей, чтобы тщательно прочесать окрестности, не было в их распоряжении. Мы добрались до чахлого леска. Тонкие кривые берёзы молили тусклое небо о помощи. В лесу мы чуть не утонули в болоте. Еле выбрались, оба в тине по уши. Бородатый врач, казалось, забыл, что я в него стрелял. А может, и правда забыл. Нечем было развести костёр и согреться. Нечего было есть. Живот подвело. Тошнило от голода. Ещё не хватало голодной рвоты жёлчью. Мы ещё не звали друг друга по именам.

Пока мы пересекали леса и холмы, поля и овраги, мы сдружились. Мы оба слушали, в какой стороне стреляют. Наши госпитали находились близ линии фронта. Нам надо было вернуться. И мы старались вернуться. Без компаса, вусмерть голодные, изгвазданные в болотной грязи. Мы дошли до реки, и мы узнали берег. Хорошего кругая мы дали. Да всё-таки выбрали куда надо.

Бородатый врач сказал: Бог помог. Я засмеялся. Сказал: не Бог, а судьба. Он мне, серьёзно так: судьба – это Бог. Я ему, насмешливо: да что ты говоришь? Мы оба перешли друг с другом на «ты». На берегу речонки нашли останки рыбацкого костра – хворост, головни, угли, пепел, серый круг на холодной земле. Я отыскал сухих веток, два камня, бил-бил о камень, высек искру. Ветки чудом запылала. Шёл низовой лёгкий ветер. Он пах весной. Костерок с трудом разгорелся. Мы сидели у костра, расслабляться было некогда, согрелись и опять подтащили веток и щепок. Огонь хотел жрать, и мы тоже. Я зашёл в сапогах в воду. Около берега стояла сонная рыба. Я поймал её руками, вернулся к костру, смеясь. С рыбы капала яркая вода. Выходило солнце. Мы испекли рыбу в золе костра, на углях, и ели, глядя друг на друга, будто молились вместе.

Чёрт, я никогда не молился. Даже перед сложнейшей операцией. А вот он, видать, молился. Ну, по всему видно, верующий. Да ведь Бога-то никакого нет! Это даже дети знают в нашей стране!

Рыбу съели, побрели по берегу. Мы теперь знали, куда идти. Впереди поднимался в небо дым. Это топили печь в моём госпитале. А твой где, спросил я врача. Мы в палатках и двух бараках, там, он махнул рукой, вверх по течению.

Поравнялись с госпиталем. Осыпалась северная стена. Бомбили. Гадёныши, бомбят раненых и врачей. По всем конвенциям такого делать нельзя. А вот делают. Наглецы. Война, разве у неё есть совесть? Совесть, она для мирных времён. Я обернулся к моему другу и протянул ему руку. Я, его убийца. И он пожал мою руку. Крепко.

Так стояли. Не могли разомкнуть рук, они будто слиплись.

– Ну, прощай.

– Прощай.

– Ты пока тут?

– Тут. Может, перебазируют, не знаю.

– Господь помоги тебе.

Я усмехнулся. Что надо ответить? «И тебе»? Но это будет враньё.

– И тебе.

Теперь улыбнулся он. Сквозь страшную бороду. Леший.

– Как я тебя найду? Хоть фамилию скажи.

Я сказал.

Потом спросил:

– А твоя?

Он назвал себя. И номер госпиталя.

Я всё запомнил.

Он тоже всё запомнил.

На войне память обостряется. И записной книжки никакой не надо. Всё в голове.

Я не знал, что его из военного госпиталя направили в столицу, там он принял сан и стал священником, а потом его арестовали.

